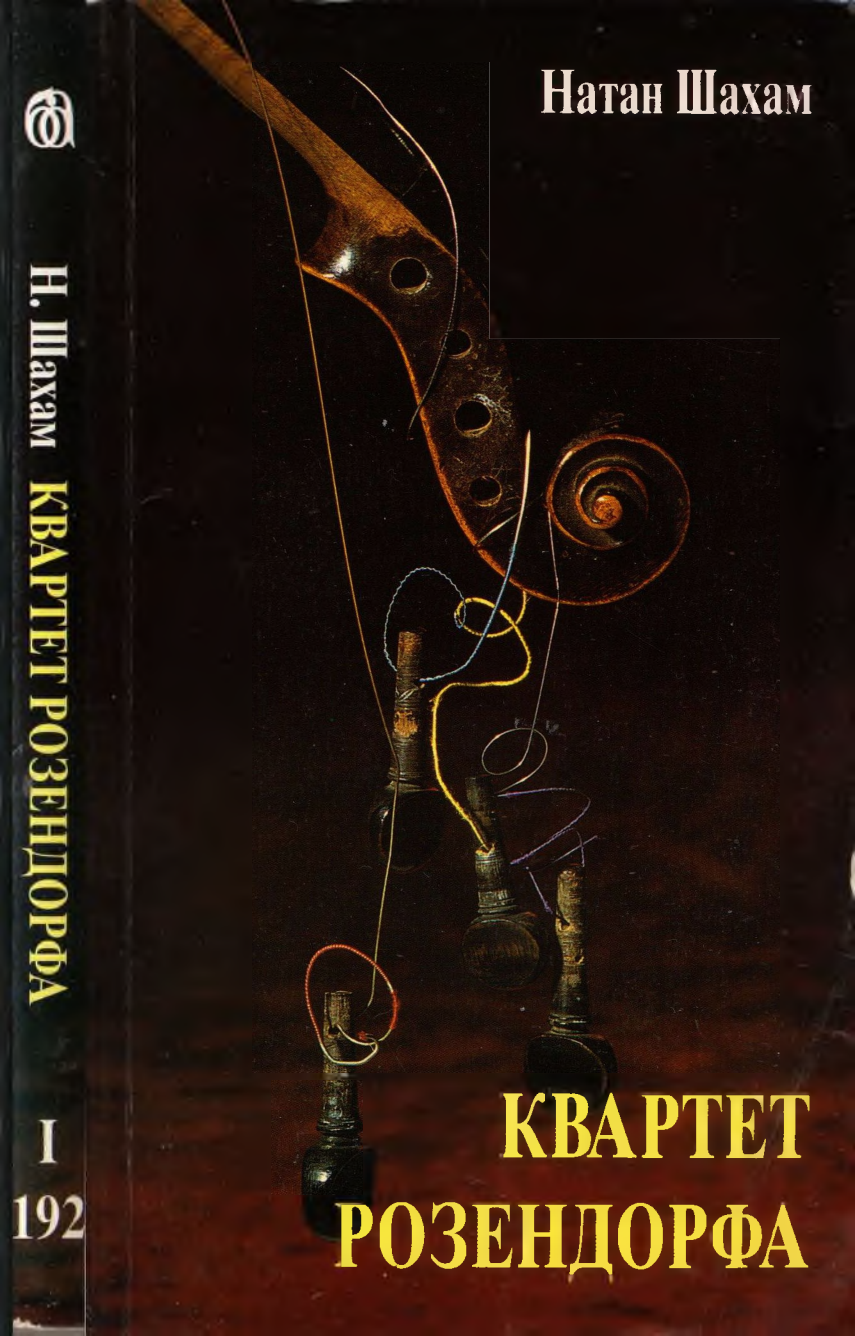




Натан Шахам



Н. Шахам

КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

I

192

КВАРТЕТ
РОЗЕНДОРФА

Натан Шахам
КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

Натан Шахам

КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА

Роман

I



**ИЕРУСАЛИМ
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
1994**

נתן שחם
רביעית רוזנדורף

Nathan Shaham
ROSENDORF QUARTET

Перевод с иврита *С. Векслер*
Редактор *М. Шкловская*
Обложка *А. Ганор*

עיריית חיפה
מערכת תרבות חסן אי
ISBN 965-328-144-X
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....

1198

©
All rights reserved

כל הזכויות שמורות לספרית-עליה
ת.ד. 4140 ירושלים
יצא לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
ואירגון הג'וינט העולמי, ניו-יורק

Typesetting, plates and printing by PRISMA-PRESS,
Jerusalem

Printed in Israel

OCR Давид Титиевский, ноябрь 2021 г., Хайфа

Содержание

I

От издательства	7
Первая скрипка — Курт Розендорф	11
Вторая скрипка — Конрад Фридман	121
Примечания	209

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Натан Шахам считается видным представителем так называемого "поколения Палмаха"* в израильской литературе. Одной из главных особенностей этой группы писателей обычно называют то, что они уделяют внимание не столько переживаниям отдельной личности, сколько настроениям коллектива, спаянного единой идеологией. Это свойство до определенного времени отличало и творчество Н.Шахама, но книга, с которой мы хотим вас познакомить, является почти нарочитым опровержением расхожей характеристики. Это роман о струнном квартете, состоящем из немецких евреев, которые оказались в Палестине (за одним единственным исключением) в силу необходимости. Их привело в чужую, непривычно жаркую и чересчур пронизанную идеологией страну стечение обстоятельств, а главным образом — невозможность жить и работать после прихода Гитлера к власти на родине, в Германии. История вращая (и невращения) этих изысканных, изломанных, ни в чем не похожих на прямолинейных сабр — уроженцев страны — людей в новую почву, история их

* Палмах (ивр.; аббревиатура от "плугот махац" — "ударные отряды") — добровольческие регулярные отряды *Хаганы* (см. прим. 60 в конце книги), выполнявшие особо ответственные задания.

отношений, продолжающаяся в музыке — главной реальности их жизни, а также в "черновике романа" писателя-авангардиста Э.Левенталя, — все это и составляет содержание книги.

Казалось бы, такая тематика предельно далека от писателя "поколения Палмаха", от израильянина, почти полвека (с 1945 г.) являющегося членом киббуца*. Но в жизни и творчестве Натана Шахама черты специфически израильские естественно связаны с обстоятельствами его происхождения и с еврейской культурой как таковой. Отец писателя, Элиэзер Штейнман (1892 — 1970), известный критик, переводчик на иврит Метерлинка, Достоевского и других зарубежных классиков, человек широчайшей образованности, ратовавший за синтез традиционно-еврейского начала с мировым, родился на Подолье, а его художественные вкусы сформировались в Одессе, где он на переломе двух веков активно работал в еврейской литературе. (Узнав об этом, мы с вами, быть может, легче снесем иронию рафинированных героев романа, снисходительно взирающих на русских евреев с высоты органичной для них немецкой культуры). В 1924 г. Элиэзер Штейнман с женой и сыном Давидом приехал в Эрец-Исраэль. Второй сын, Натан, родился уже в Тель-Авиве, в 1925 г. Здесь он учился в гимназии "Герцлия", здесь стал участником левосоциалистического молодежного движения Ха-шомер ха-цаир, одним из руководителей которого был его старший брат. Братья, унаследовавшие, хоть и в разной степени, одаренность отца, добились известности на литературном поприще. Давид стал видным публицистом, а Натан, начав с поэзии, с успехом занимался драматургией и прозой. Пьесы его ставились

* Киббуц — см. прим. 3 в конце книги.

не только в Израиле, но также в Европе и Америке; книги вышли на нескольких языках. Так, "Квартет Розендорфа" переведен на английский и немецкий (успех романа в Германии побудил тамошнего издателя вторично выпустить книгу массовым тиражом в мягкой обложке), готовится китайское издание.

Натан Шахам — лауреат ряда престижных литературных премий (в том числе премий им. А.Шленского, им. Х.Н.Бялика, им. И.Ньюмена). В 1992 г. роман "Квартет Розендорфа" был признан в США "лучшей еврейской книгой года". В Израиле роман выдержал шесть изданий. Признание не слишком неожиданное, если учесть, что книга отнюдь не рассчитана на "массового читателя", а ее автор обходится безо всякого пиетета со многими "священными коровами" израильского общества.

Быть может, причина успеха романа в том и заключается, что, не давая никаких рецептов и намеренно избегая легких решений, он подчас создает то напряжение, "которое тянется до точки, где его уже нельзя выносить".

ПЕРВАЯ СКРИПКА — КУРТ РОЗЕНДОРФ

Море тихое, путешествие протекает удачно. В сегодняшней Германии у Мендельсона и у нас одинаковая судьба^{1*}. Но стереть его из Британской энциклопедии они все же не смогли.

Небо яркое, золотисто-синее. Только море еще мрачное, прусской синевы — точно в глубине по-прежнему бушует вчерашний шторм. Волны совсем без пены, гладят борт корабля. Мотор гудит в ми бемоль мажоре. Хорошо сочетается с синим — цветом тоски по абсолюту. Лестница дружбы у "вольных каменщиков"².

Хочу верить, что друзей можно найти повсюду, даже в стране, где низкая культура и так много политики. Странно будет играть Моцарта в пустыне. Тонкая печаль, совсем не мажорная, разлита в произведениях, написанных Моцартом в этой тональности, — в Концертной симфонии для скрипки и альты и в Концерте для фортепьяно, в "Кегельштадте", в Струнном квинтете — словно он не верил в дружбу тех, кто поклялся друг другу в вечной верности.

Домой напишу: даже в шуме судового двигателя слышится мне дружественный звук. Малень-

* Примечания к словам, отмеченным цифрами, см. в конце книги.

кая ложь. Нет ведь никакого проку тревожить домашних. Глупо было бы рассказывать в первом письме, что уже в пути меня пугало какое-то отупение чувств. А ведь прежде путешествия волновали меня, я, бывало, чувствовал себя юношей, впервые самостоятельно отправлявшимся в дорогу. И вот теперь, когда я еду навстречу столь резким переменам в жизни, — полнейшее равнодушие. Уже два дня как я не прикасался к скрипке — из-за шторма, и это раздражало меня больше, чем неясность во всем, что касается будущего. Странная апатия одолела меня. Я еду играть в провинциальном оркестре, созданном из соображений гуманности, из страха перед будущим, — плыву на корабле, точно турист, отправляющийся в отпуск, с пустой, без единой мысли, головой.

Быть может, оттого, что все силы потребовались, чтобы совершить первый шаг — покинуть дом, семью, друзей, родину, — и ничего не осталось на то, чтобы подготовиться к будущему. Мысли тянутся к прошлому. Воображение бежит от усилия, не хочет предугадывать, какова будет жизнь в жалком городишке, построенном на песке. Мне трудно представить симфонический оркестр в такой вот большой средиземноморской деревне, где нет ни оперы, ни кафедрального собора.

В жизни не видал собственными глазами города, основанного всего двадцать восемь лет назад. По фотооткрыткам нельзя было составить никакого понятия — маленькие дома по обеим сторонам улицы, ведущей к зданию с арками и башнями. Мне подумалось: странно — город, построенный вокруг гимназии.

Не осмеливаюсь представить себе струнный квартет.

Грета сказала:

— Без меня ты проживешь. Но без квартета жить не сможешь.

Я ответил:

— Я ведь еду играть в оркестре.

Она встревоженно посмотрела на меня. Еще не отправился в путь, а уже отказался от всяких стандартов. Уже начал измерять себя мерками захолустной страны эмигрантов. Она будто предсказывала мне крах, и на лице ее было все то же выражение снисходительного разочарования, примирения с факторами, обусловленными характером, а не временными обстоятельствами. Ей и в голову не приходило предложить мне отказаться от принятого решения. К тому же она не станет тягаться с моей жестоковейностью, превращающей поспешные решения в священный принцип. Раз мы решили расстаться на неопределенное время, нет смысла ссориться. Ссора только причинит боль, но ничего не изменит.

Я рассказал о нашем договоре с женой Эгону Левенталю (известный писатель, было весьма радостно убедиться, что и такой человек, как он, едет в Палестину; стало быть, есть шанс найти там некий *milieu*, культурную среду) — и по его лицу я видел, что он сомневается, есть ли у нас возможность хоть когда-нибудь воссоединиться. Гитлер — не преходящий эпизод, от которого Германия рано или поздно очнется, сказал он. Это лишь наши благие пожелания, им не выстоять перед фактами. Немецкий народ принял Гитлера, и только силы извне смогут его одолеть. А такой силы, к нашему душевному прискорбию, не существует. Запад делает все, дабы умиротворить этого сумасшедшего, и гневные пророчества эмигрантов не изменяют его позиции.

Мы говорили лишь о политических осложне-

ниях, но Левенталь дал мне понять, что может представить себе еще одну-две причины, способные вызвать добровольную разлуку мужа с женой. Но он не станет допытываться. Человек рассказывает то, во что желает верить. Он полагает, и вполне справедливо, что о вопросах неполитического свойства, разлучивших меня с женой, я предпочту умолчать.

Разница темпераментов и эротические моменты все равно не поддаются определению, и нет проку пытаться назвать их по имени. Никогда мы не узнаем, каков подлинный вес проглоченных обид. Ведь возможно, что оупение чувств, внезапно навалившееся на меня, — это вполне нормальное состояние, которое другие именуют здравым смыслом.

Контраст наших с Гретой характеров прост и ясен. Его и посторонний мог разглядеть. Ортодоксы скажут, что трещина между нами есть яркий пример неудачи смешанных браков. Ведь с любой точки зрения мы были парой, которой обеспечена гармония. Оба мы музыканты с более или менее одинаковым положением, у каждого своя область — тут не было места конкуренции или каким-то второстепенным соображениям, оба любим музицировать, почитать хорошую книгу, оба готовы все силы положить на воспитание дочери, обоим не привлекает жизнь богемного общества, которая может оторвать человека даже от самого себя, ни один из нас не придерживается крайних взглядов, способных расшатать твердую основу взаимопонимания. Оба мы люди прилежные, умеющие напряженно трудиться, откладывая на черный день, мы способны понимать друг друга с полуслова, к тому же остерегаемся грубого юмора, который может привести к недоразумениям.

Но все же были и диссонансы.

Мы как огня боялись объяснить их различиями, вытекающими из формальной принадлежности к разным конфессиональным общинам. Именно Грета это превосходно определила. Однажды мы запутались в споре из-за пустякового вопроса, никак не могли выйти из порочного круга, и мне показалось, что она связывает мое упрямство с еврейским происхождением.

— Ты такой же еврей, как я христианка. Оба мы в равной мере не принадлежим своей среде. И потому нет смысла в том, чтобы между нами встречали предрассудки черни.

Немалые различия были у нас в степени чувствительности. У людей искусства такие различия могут нарушить равновесие.

Хотя вслух об этом не говорилось, я ощущал, что Грете отвратительна моя чрезмерная чувствительность. Если не ошибаюсь, она приписывает и мое "поражение" как художника этому моменту: у меня не было сил выстоять в конкуренции, вынуждающей подчас "шагать по трупам". Именно в этом, по ее мнению, причина того, что я не солист с мировым именем, что меня оттеснили до положения концертмейстера оркестра, который для самоутверждения играет в струнном квартете, выступающем в малых залах.

Меня до боли огорчало, что она не понимала: камерная музыка — это образ жизни. Не из-за страха перед изматывающими нервы конкурсами не направил я всех душевных сил на то, чтобы завоевать положение солиста, хотя, разумеется, с удовольствием время от времени отходил от камерной музыки, играл скрипичные концерты. Камерная музыка — трудно объяснить это тому, кто сам не понимает, — есть верный компромисс между

требованиями моего "я" и глубокой убежденностью в главенствующем значении совместного труда.

Не стану игнорировать и того, что Грета разочаровалась во мне не только из-за моей скромности, не соответствовавшей предсказаниям насчет счастья, сужденного нам с нею как людям талантливым, красивым, прилежным, с хорошим вкусом, которым повезло родиться в стране, где умеют ценить музыкальный талант, упорство и эллинистическую красоту. В ней была еще какая-то усталость от попыток воспитать во мне умение поставить на своем в любом деле, как умела делать сама. Иногда Грета глядела на меня с глубоким отчаянием. Когда же я стану взрослым? Тридцативосьмилетний мужчина, сделавший неплохую музыкальную карьеру, а всякая женщина, даже ничего не стоящая, глупая или вульгарная, может заставить его подстраиваться под свое настроение; я не способен заставить других признать, что мое положение делает из меня светило, а прочие должны вращаться вокруг.

Есть в этом нечто. Могу даже добавить: когда я встречаю человека, который конфузится предо мною, — поклонника или девушку, которую поражает моя эффектная внешность, я ощущаю невероятное смятение. Я тут же ищу способ перевести разговор на такую тему, где у собеседника есть какое-то преимущество. Вместо того, чтобы говорить о музыке, я пускаюсь в болтовню о политике, о кулинарии, о воспитании детей, о литературе — о чем угодно.

Вероятно, я действительно слишком чувствителен, остерегаюсь чрезмерно выделяться — еврейская черта, унаследованная от родителей, — не способен настаивать на своих правах.

Приведу пример, совершенно незначительный, чтобы разъяснить это.

У нас есть в Берлине крохотная квартирка, на боковой улице, но зато близко от Берлинской филармонии, в районе, где цены на квартиры высокие. Для трех обычных людей ее вполне достаточно. Но когда каждому нужно заниматься, возникают сложности (Анна, наша дочь, играет на фортепьяно). Кажется, их можно обойти. Тем более — в семейном кругу. Когда закрывают дверь спальни, звуки заметно приглушаются. Я могу играть на кухне. Можно также разделить поровну дневные часы. Но если Грета — хотя она должна была бы быть из нас троих наиболее чувствительной к шуму, ибо что может быть более уязвимым, чем голосовые связки? — была способна затвориться от мира и отгородиться от всего, точно человек, уехавший в другое место, то меня, кому, казалось бы, не требовалось ничего, кроме небольшой "разминки", чтобы оставаться в форме, меня выводила из терпения всякая мелочь, любая ерунда: звуки, доносившиеся с улицы, настроение Анны, нарочитое молчание Греты — абсолютно все. После стычки с Гретой я вообще не способен играть. Провести смычком по струнам и пробежаться взад-вперед пальцами еще можно, но недостает главного: сосредоточенности, вдохновения, слияния с музыкой.

Грета видела в этом болезненность. Мои поездки за город, где я играл в заброшенном доме одного приятеля, сперва казались ей богемным спектаклем. Но когда она поняла, что это всерьез, — наступило глубокое разочарование. Ей было бы легче, если бы это была "поза". Столь легко возбудимая чувствительность представлялась ей душевной болезнью. Надо уточнить: не душевной болезнью, а болезнью души, каким-то слабосилием, возникшим из-за лишней тонкости. У нее не было и лекарств против этой болезни — как бледным

и мягкотелым детям рекомендуют отправиться на лоно природы и заняться спортом, так и она пыталась укрепить мою слабосильную душу с помощью трудных спровоцированных поединков. Это была грубая ошибка. Хотя она делала это словно шутя, я не мог принять таких надуманных препятствий, долженствующих закалить мой характер, как игру, в которой должен участвовать.

В последнее время — слишком поздно! — она прекратила эти попытки. Отчаялась во мне. Хотя она и очень остерегалась высказывать это, я чувствовал, что она объясняет такие мои качества "еврейской природой". Мы, по воле судьбы, люди беспокойные. Мы достойны сожаления. Нет у нас шансов измениться. Не в нынешнем поколении. По крайней мере, дочь будет от этого избавлена. В ее жилах течет кровь баварских крестьян.

Вместо боевых учений для укрепления духа я получал небольшие примеры того, как надлежит всецело властвовать над своим настроением. Это были организованные представления с показом владения ситуацией. Она исподтишка маневрировала так, чтобы оказаться в неловком положении, где и расцветали ее выдающиеся качества. Если возникала ссора из-за какого-то бессмысленного пустяка, — кого не доводило до ссор раздражение от непонимания или скрытое напряжение? — глаза ее метали молнии, как у ребенка, нашедшего клад, — возможность доказать, кто из нас упрямец, а кто великодушен. С каким удовольствием давала она мне победить в споре, где я был неправ! Искоса, сверху вниз она бросала на меня пронизательный взгляд. О, она не растрчивает свои милости понапрасну. У них есть воспитательная цель. Шаг за шагом она формирует мой характер. У меня еще есть шанс сделаться существом оптимистическим и сильным.

Надо признать, разность характеров не отравляла нам возможности получать физическое наслаждение друг с другом. Все диссонансы разрешались в постели. Там все завершалось сильным аккордом, мажорным трубным звуком. Не раз в любовном объятии находили мы утешение от разочарований повседневной жизни или успокаивали друг друга в профессиональных неудачах. Какой милой и любящей была она после того, как не получила роли в "Гибели богов". Полнейшее взаимопонимание царило между нами в мире напряженной тишины плоти. Но пусть мы могли вместе нырнуть в счастливое забвение, срок жизни которого не больше любовного слияния, все же по мере того, как шли годы, пробуждалась потребность во временном разрыве. У нас появилась и условная формула для ее обозначения: "ради обновления". Нам обоим было необходимо почувствовать на какое-то время, как не хватает нам друг друга — период этот был всегда неопределенным, — чтобы мы смогли снова соединиться и быть близкими, как в первые годы нашей любви.

Политическая обстановка тоже подталкивала к этому. Правда, сначала влияние ее было обратным. Грета, непримиримая противница Гитлера, чувствовала необходимость продемонстрировать солидарность с евреем. Но и это она делала так резко, что отношение ее не могло согреть мне душу. Иногда возникало чувство, что даже это невеселое положение безотчетно используется, чтобы поставить все на свои места: есть в нашей семье человек, готовый защитить, и есть другой, который нуждается в защите.

Предложение, сделанное мне Губерманом, — вступить в оркестр, который он собирался создать в Палестине, — было своевременным со всех точек

зрения. Я был недавно уволен из Берлинской филармонии, а у Квартета Розендорфа, состоящего из трех евреев и одного чистокровного арийца, не было никаких шансов прокормиться музыкой. В Германии мы подлежали расовым законам, а в других странах квартет еще не пользовался известностью. Правда, мы дали один концерт в Ливерпуле и еще один в Страсбурге (они принесли нам немалый бюджетный дефицит), была одна пластинка — поспешная и неточная запись, — но все это не могло обеспечить нам приличного заработка в чужой стране. Я выступал также как солист с Франкфуртским оркестром, но и это выступление не помогло мне упрочить своего положения. Было тактической ошибкой играть Брамса через год после Сигети.

Палестина представлялась идеальным временным убежищем.

Грета считала эту идею безумной.

— Если ты поедешь в Англию или во Францию, у нас есть шанс снова соединиться. Ты упрочишь там свое положение (это выражение она особенно любила), и мы сможем приехать к тебе через какой-то приемлемый срок.

Не могло быть сомнений: в Палестину она не поедет. Не потому что это страна, ставшая убежищем для евреев, — у нее нет предубеждения против евреев. Она ведь вышла замуж за еврея и рисковала жизнью, когда публично высказалась против антисемитизма! И не из-за своей музыкальной карьеры не может она даже помыслить о Палестине. Она способна отказаться от честолюбивых стремлений, удовольствовавшись преподаванием пения да случайными выступлениями с оркестром, если Губерману действительно удастся создать там оркестр, достойный так называться. Но она ни в коем случае

не согласна рисковать будущим Анны.

— Такой цветок, как Анна, нельзя пересаживать в пустыню, — сказала она.

У Анны рано обнаружились необычайные способности к музыке. В свои четырнадцать лет она уже зрелый музыкант. У нее превосходная техника, умение сосредоточиться, а главное — безусловно личный подход к музыке. Нет сомнений, что ей суждена блестящая будущность, если она будет упорно идти по избранному пути и если у нее будут соответствующие учителя.

Говорят, в Палестине есть два-три приличных учителя, но Грета, знавшая о них по слухам, не готова признать их "культурной средой", необходимой Анне. Более того, по ее мнению, молодой музыкант высокого уровня не может развиваться вне общества музыкантов-сверстников.

Быть может, правда на ее стороне. Германия — то место, где может расцвести талант юного художника.

Что ж, и с этой точки зрения намеченная нами пауза будет полезна. Без отца-еврея на заднем плане у Анны будут лучшие шансы.

Но в Триесте на меня навалилась беспощадная тоска, точно физическая тяжесть в груди. Боль поглощала все внимание, не давая сосредоточиться. Мне душевно необходима их близость, сказал я себе. У музыканта высокого уровня нет частной жизни. Это надо признать. Моцарт расстался с горячо любимой матушкой и отправился в путь прежде, чем ему исполнилось восемь лет.

На пароходе у меня пробудились опасения, как бы наша жертва не была напрасной. Встреча с Эгоном Левенталем, наполнившая мое сердце радостью, пробудила и неожиданную боль. Он из осторожности ничего не сказал мне, но я хорошо

видел: он сомневается, что при наличии отца-еврея нацисты оставят в покое одаренную девочку. Левенталь сказал только:

— Боюсь, никто из нас не может себе представить, на что способны эти люди.

Он, видно, знает нечто такое, о чем люди вроде меня, пережившие всего лишь увольнение, могут только догадываться.

Он был одним из первых узников Дахау.

Мы встретились на второй день плавания на палубе. Он узнал меня. В конце 1931 года он слушал концерт и ему запомнилось мое лицо. ("Лицо, которое не забывается", — сказал он как о неоспоримом факте.) Он подошел сказать мне, какое наслаждение доставило ему исполнение (пять лет назад!) ля-минорного квартета Шуберта, который он особенно любит. Он пробормотал свое имя очень невнятно, и мне вовсе не пришло в голову, что я говорю с известным писателем, автором "Величия предков", книги, которую я очень полюбил.

После того, как я узнал его — главным образом по манере разговаривать, столь необычной, — он снова удивил меня. Такого человека, как он, знавшего и славу, и страшное падение, могло взволновать то обстоятельство, что я помнил именно то его произведение, которое в свое время не произвело на читателей сильного впечатления.

— К книгам, отвергнутым публикой, у меня особое отношение — как у отца к погибшему ребенку, — сказал он с улыбкой.

Мне подумалось, что смешно волноваться из-за признания такого человека, как я, прочитавшего очень мало книг. Правда, и меня радуют похвалы незнакомых людей, но по-настоящему взволновать

меня может лишь признание серьезного музыканта. Наверное, здесь сказались обстоятельства нашего знакомства — на пароходе, несущем нас в страну, которой мы не избирали, когда обоих нас одолевал понятный страх перед неизвестностью.

По нескольким причинам страхи Левенталья более оправданны, чем мои опасения. В нашем положении нет симметрии; меня ждет постоянное место работы, зарплата и более или менее устроенная жизнь. У него же нет ничего (только имя какой-то подружки, зарабатывающей на жизнь мелкой чиновничьей работенкой, да туманные обещания эмигрантской газеты в Швейцарии; если он будет постоянно посылать туда статьи, то со второго года ему начнут выплачивать постоянное жалованье — примерно половину заработка скрипача в оркестре). У меня есть музыка — универсальный язык, здоровые пальцы, отличная скрипка (Гваданьини), мне обеспечена публика (в этой захолустной стране уже несколько лет существует Филармоническое общество). У него же нет никакой уверенности, что он найдет издателя для своих сочинений (а писатель без языка все равно, что скрипач с переломанными пальцами).

Что до постоянной зарплаты — я поинтересовался, можно ли вести приличное существование на двадцать лир в месяц (если получу должность концертмейстера скрипок) и можно ли вообще просуществовать на семнадцать или шестнадцать лир в месяц (если они предпочтут мне другого, лучшего скрипача). Я знаю, это пустое беспокойство, но в состоянии замешательства и неуверенности мы ~~на~~брасываемся на мелочи, чтобы держаться хоть за что-нибудь. Один попутчик сказал мне, что двадцать лир в месяц — это целый капитал. Но он киббуцник³, возвращающийся из командировки, и,

в соответствии с его мировоззрением, всякий, кто не голоден, может быть счастлив. Второй человек, к которому я не без смущения обратился с тем же вопросом, только с сожалением улыбнулся. Это был араб, изучавший медицину в Германии, его семья владеет обширными поместьями, и сумма в двадцать лир для него — бумажка, которую он засовывает меж грудей танцовщицы в ночном клубе.

"Дружба", завязавшаяся с первого взгляда между мною и Эгоном Левенталем, видна, из тех сближений, что возникают в больницах, санаториях и оканчиваются с выздоровлением. Ее источник — в одиночестве, которое мы испытываем на корабле, где собрались самые разные люди: тут и эмигранты, и возвращающиеся домой граждане, и правительственные служащие — и нет между ними никакой связи. Мы оба испытываем какую-то горечь от этой первой встречи с жителями Земли обетованной. С трудом находишь здесь одного-двух людей, с кем можно обменяться парой фраз. А единственный, кто бегло говорит по-немецки, пусть с причудливым акцентом, — араб. Некоторые из тех, кто не упускает возможности завязать беседу с иностранцем, только воображают, будто знают немецкий. Они говорят на жаргоне, который мы едва понимаем⁴. "От звука этого языка меня озноб пробирает", — говорит Эгон.

Я не столь чувствителен. Манеры их досаждают мне больше. В особенности горластость. А также непристойный обычай пускаться в разговоры о музыке в тот момент, когда они узнают, кто я такой. Мне отвратительна сердечная улыбка, которая появляется на их лицах только после того, как им становится ясно, что ты не беженец, нуждающийся в их благодеяниях.

Я называю словом "дружба" ту тонкую сеть от-

ношений, что протянулась между мной и Эгоном Левенталем, хотя вовсе не знаю, встретимся ли мы с ним на берегу (элементарная логика говорит, что встретимся: страна мала и число выходцев из Германии в ней невелико). Однако это не означает, что мы проводим вместе долгие часы. Напротив. Мы встречаемся изредка. Но нам нет надобности много болтать, чтобы почувствовать, что мы понимаем друг друга. Например, про Дахау он не сказал мне ни слова. Дал понять, что важны не факты. Что же до их воздействия на него — этого он еще не знает. Похоже, свой тамошний опыт он резюмировал, когда сказал мне лишь одну фразу, самую суть (словно ученик Шенберга, желавшего вместить всю музыку в одну нотную страницу): "Человека, с которым ты не хотел знакомиться, не можешь потом забыть". Про свои книги он вообще не говорит. Быть может, опасается, что я их не читал (что весьма вероятно). Только про "Величие предков", о котором я вспомнил, он сказал несколько слов. Принц — это актуальный образ. И мораль: можно до слез переживать сентиментальную музыку и быть совершенно равнодушным к человеческим страданиям. (Левенталь прекрасно разбирается в музыке. В юности он играл на фортепьяно.)

Вечером, когда море утихло и я отправился в каюту немного поиграть, он пошел со мной. Музыка действует на него очень сильно. Он видит во мне друга, потому что я никогда не остаюсь с ним дольше, чем ему хотелось бы. Грета наверняка объяснила бы это так: настрой на чувства другого для меня вторая натура. Бегство за море не может излечить человека от исконной слабости.

Грета, разумеется, не может знать, как я веду себя в обществе других женщин. Она верит — и

тем, конечно, не отличается от других жен, — что скромность во всем, что касается физической стороны любви, тоже моя вторая натура. Такое убеждение трудно оспаривать. Я не смог бы подкрепить свои доводы фактами, которые причинят ей боль.

Легкомысленных женщин тянет ко мне, как к греху. На пароходе это может принять самые отталкивающие формы. К счастью, тут почти нет темных углов, а в каютах невозможно уединиться. Но те, кому довольно поспешных контактов, могут наслаждаться бесчисленными возможностями. Добровольное заключение на плывущем пароходе обнажает у людей, в том числе и у женщин, всю глупость и безответственность, в них дремлющую. Вынужденная праздность превращает их в болтунов, заставляет выходить за рамки привычного. Без стыда открывают они на всеобщее обозрение — точно так же, как обнажают тело под солнцем, — свои самые отвратительные свойства. Сперва снимают отдельные одежды, потом сбрасывают и тонкую оболочку культуры.

Есть тут одна женщина, старше меня года на два-три, как я слышал, жена известного адвоката. Она все прогуливается по палубе, словно необходимость оставаться в одиночестве, выносить себя самое — для нее настоящий кошмар. Преследуемая скукой, она дает понять любому глупцу, что сердце ее открыто для пустых ухаживаний, которые прервутся, как только она сойдет на желанный берег. Один глупец, по фамилии Розендорф, решившийся удалиться от всей этой суеты, обнаружил, что стоит на палубе рука об руку с сей дамой. Это бы еще не страшно, если бы ему не пришлось выслушивать патетическую декламацию о том, как прекрасно море в сумерках и насколько оно прекраснее ночью. И все это для того, чтобы наслаждаться не при-

носящими удовлетворения прикосновениями, из-за которых презираешь себя за нечестность.

Есть тут еще одна женщина — моложе, но менее красивая, она при каждом случае толкается в меня мощной, сулящей утешение грудью, чтобы испробовать на мне свои чары, а заодно поупражняться в немецком, который она изучала в венской школе (ее родители, выходцы из Галиции, прожили там год по пути в Палестину). Она может рассказать мне так много интересного. В Вене она пела в школьном хоре. В Иерусалиме ей привелось слушать Губермана (тут она бросила на меня взгляд, исполненный любви и жалости, — здравый смысл говорил ей, что я не могу равняться с Губерманом). Ее двоюродный брат тоже играл на скрипке, но после того, как кончил тель-авивскую гимназию, бросил заниматься музыкой. Она прочла книжку о Шопене, но вспомнив, что он был пианист, а не скрипач, перестала пересказывать мне ее содержание. Кроме того, она знает несколько грубых анекдотов. А однажды она очень прозрачно намекнула, что спасательные шлюпки накрыты толстым брезентом.

Есть тут еще молоденькая девушка из Германии, отправляющаяся работать в женский кооператив. Она глядит на меня томными глазами, сердечко замирает в ней, когда она сталкивается со мною в узком проходе. Она прелестная девушка, тонкая и чувствительная, как менуэт Моцарта. Не прикасаясь к ней, я стараюсь искупить другие свои грехи. Уважением к ней я очищаю душу от болезненной мерзости.

Иногда я думаю: я веду себя, как юноша, которого родители считали неудачником, поэтому он решил, что сам встанет на ноги и непременно создаст экономическую империю.

Левенталь — странный человек. Иногда он наглухо запечатан, как дом с закрытыми ставнями. Он слушает собеседника с подчеркнутым вниманием, а глаза у него смертельно усталые. Вежливость не позволяет ему отделаться от мерзавца, полагающего, будто скука — достаточная причина навязываться беззащитному слушателю. Он злится на самого себя за то, что не может забыть о вежливости.

(Должно быть, так Гайдн прислушивался к игре фальшивящего любителя из знатного семейства, сердясь на мировой порядок, из-за которого он не может позволить себе сказать: "Сударь, играете вы весьма скверно, вам бы лучше предоставить музыку другим". Скрипач Соломонс нашел более изысканный способ сказать это королю Георгу III: "Скрипачи бывают трех родов: не умеющие играть вообще, играющие очень плохо, играющие хорошо. Ваше величество уже достигли совершенств, присущих музыкантам второго рода".)

Взгляд Левенталья, делающийся с каждой минутой все более гневным, хоть его никто не думал злить, грозит собеседнику. А иногда он добр к близким и никак не может поставить требуемой точки. Беседа с ним — это обычно тяжкое духовное напряжение. Он говорит намеками, и ты чувствуешь, что он испытывает твой ум. Если сделаешь вид, что понял, и улыбнешься, ты попал в черный список, куда убористым почерком занесены показушники всех видов. Он произносит половину фразы как человек, протягивающий приятелю пол-яблока, и мешкает, покуда ты, ощутив неловкость, не протянешь ему второй половины. Если попадешь в цель, поймешь его мысль — станешь ему другом. Если ошибешься — он тебя раскусил. Анекдоты Левенталь рассказывает, храня непроницаемый вид, с остекленевшими глазами. Люди, лишённые чувства юмора, могут

подумать, что он мучается от боли. Мне кажется, все это перегородки, чтоб защититься от докучливых людей.

О важных мировых проблемах он говорит так, как другие сплетничают. "Боги Эллады восстают", — сказал он одной даме, продемонстрировавшей знание латыни (мы проплывали мимо Крита, штормило, нас рвало, и было недостойно смеяться над нашим состоянием, но ему удалось создать впечатление, будто он и не думает шутить). "На своем пути с запада на восток, к истоку чистой духовности, мы не имели права пройти мимо эллинистической концепции красоты, а теперь боги мстят нам". Женщина улыбнулась, но, видя серьезное выражение его лица, тоже приняла серьезный вид, сказав: "В этом что-то есть". Он потом хохотал и иронизировал над нею. Я видел в этом духовную жестокость. Я тоже нашел "нечто" в его словах. Правда, мне трудно говорить на столь отвлеченные темы с подобной фамильярностью, точно добродушно подтрунивая над родственниками, но основная идея мне понравилась. Мы движемся против течения истории.

Я много думал об этом: мы едем в страну, нуждающуюся в людях физического труда, у которой нет ни потребности, ни возможности прокормить немецкого писателя и скрипача международного класса (при всей скромности скажу, что если бы Гитлер не пришел к власти, Квартет Розендорфа был бы сегодня одним из известнейших квартетов в мире, вроде Квартета Буша или Квартета Гриллера, и тогда я мог бы эмигрировать в Англию, во Францию, в Швейцарию или в Америку и мне не пришлось бы заполнять при этом бесчисленных анкет). Здесь эмиграцию называют алия — "восхождение"⁵. Для меня и для Левенталя это спуск.

Почти падение.

Признаки падения я обнаружил в одном незначительном эпизоде.

Вчера ко мне подошел человек, представившийся учителем гимназии, и сказал, что нежелательно водить дружбу с арабом. В Эрец-Исраэль бушует террор, и люди могут подумать, будто я коммунист. Я рассмеялся ему в лицо. Врач-араб ясно высказывался против насилия.

— И вы ему верите? — иронически спросил учитель гимназии. — Вы наивны. Им ничего не стоит соврать вам. У них это почитается добродетелью.

В конце концов мне пришлось прервать отношения с арабским врачом. Когда я рассказал ему про совет учителя и о том, как тот отзывается об арабах, он прибег к сходным аргументам. Интересно, осмелился бы он говорить со мной о "еврейской природе", если бы я, а не он платил за напитки в баре первого класса.

Я еще не прибыл в Страну обетованную, а уже вынужден выбирать знакомых не по своим принципам. Было бы победой антисемитов, если бы и мы тоже стали разделять людей на евреев и неевреев. Всю жизнь я остерегался этого. Я предпочитаю классифицировать людей в зависимости от их душевных качеств, сближаться с теми, кто мне близок по духу, и отдаляться от тех, чьи принципы мне противны. И тут и там будут евреи и неевреи. Еврейская общность судьбы — ее я не выбирал, но и не пытался от нее бежать. Я не кривил душой. Не крестился, как мне советовали, когда это было еще возможно, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь, ибо я не способен жить согласно заповедям религии, любой религии. Я не готов отдать предпочтение еврею перед человеком, с которым у меня есть общность в вопро-

сах вкуса и чувства. Только случайно нас было трое евреев и один нееврей в Квартете Розендорфа. Нас сближало единство мнений в вопросах музыки. Мысль, что я должен предпочесть посредственного музыканта лучшему только потому, что первый еврей, мне омерзительна. Я всегда предпочту христианина, обладающего тонким слухом и пониманием, тупоухому еврею.

(У меня были тяжкие споры со Штайнером, виолончелистом, и с Брэнфельдом, альтистом, на тему о том, стоит ли брать скрипача фон ден Бургера, поскольку мы не были уверены в том, что его исполнительский стиль нам подходит. Боюсь, в конце концов мы приняли его из-за доводов, не относящихся к сути дела. Штайнер думал, хотя не осмеливался сказать вслух, что вступление в наш ансамбль человека с разветвленными светскими связями и аристократическим титулом может быть полезно. Посторонний довод. Мы дорого за него заплатили. Фон ден Бургер немало нам напортил. Всякий раз, как ему доставалась мелодия, он играл ее что есть мочи и к тому же грубо. Он играл скерцо Гайдна и Моцарта — легкие пьесы, олицетворяющую радость — тяжеломерно и неизящно, ибо относился к ним с преувеличенным священным трепетом, будто вся музыка, написанная немцами, — это его родовое имение, от которого надо собаками отгонять посторонних. Он не раз нас позорил и еще упрямо повторял, что лучше нас понимает немецкий народный дух. Быть может, он был прав. Но чем согрешили Гайдн и Моцарт? Нам надо было найти скрипача, который не видел бы в положении второй скрипки ничего для себя унижительного, да трудно и отыскать среди евреев хорошего музыканта на роль второй скрипки. Но я, кажется, противоречу сам себе... Главное состоит

вот в чем: я прежде хочу знать, кто ты, и лишь потом готов выслушать, где ты молишься. И мне неприятно думать, что работа в оркестре беженцев от расовой дискриминации заставит меня разделять представления узколобых националистов, видящих в отношениях уважения и привязанности к арабу измену еврейской солидарности.)

Я высказал свои сомнения Левенталю. Он удивил меня предрассудком:

—Вы не сможете быть приятелем этого симпатичного врача хотя бы потому, что он несметно богат, а вы будете жить в обрешетку на жалованье оркестранта.

Неужели? Некоторые из моих ближайших друзей в Германии были большие богачи. Но тут же поймал себя на мысли: да, но ведь эти богачи были евреи.

Не успел я сегодня утром выйти на палубу, как подошел Эгон Левенталь и, положив мне руку на плечо, повел на нос судна. Жест этот явно свидетельствовал о его волнении. Ведь обычно Левенталь терпеть не может прикосновений, отвращение к ним принимает у него какой-то преувеличенный характер, точно соприкосновение с кожей другого человека пробуждает в нем вытесненные чувства. И хотя он говорил иронически, нарочно искажая общепринятое определение — "Вот земля, которую нам обещали"⁶, — все-таки чувствовалось, что вид открывшегося перед ним берега лишил его покоя.

Уже вчера я почувствовал в нем какой-то надрыв. Я пошел к себе в каюту немного поиграть. Гаммы, упражнения, пьесы на развитие техники — просто для поддержания формы. Вошел Эгон, очень вежливый, сел на краешек нижней койки и восхищенно слушал, с какой-то согласной улыбкой, как будто любой технический трюк — это трудное испытание, которое мне удалось выдержать, что он

и удостоверяет поощрительной улыбкой.

Потом он попросил меня сыграть что-нибудь из Баха. И вдруг я увидел, что из глаз его струятся слезы. Я перестал играть. Он в смятении вышел из каюты.

Я был потрясен. Я не предполагал, что он так разволнуется. Я думал, что человек, прошедший с сухими глазами через Дахау, не станет проливать слез над Бахом. Хорошее исполнение вдохновенного произведения может растрогать и меня. Но не в таких обстоятельствах — не в железной, глушащей звук каюте под непрерывное тарахтенье мотора в монотонном ми бемоль, сталкивающемся со всяким ре и ми, то и дело повторявшимися в той пьесе. И потому я позволил себе заключить, что возбуждение Левенталья вызвано чем-то другим.

Одно дело, сжав губы, стоять перед злодеями и чувствовать прилив мужества, и совсем иное дело поневоле ехать в страну, которая должна быть тебе избранной родиной. Я могу его понять. И чем больше я думаю о нем, тем лучше кажется мне мое положение по сравнению с положением Левенталья. У него никого нет, кроме той женщины, — кто она для него, я так и не сумел понять, — да безымянной публики, не читавшей его книг. Кроме того, как мне рассказывали, его ждут еще несколько горячих голов, что желали бы запретить выходцам из Германии говорить на родном языке во всех общественных местах.

Когда мы снова встретились, Левенталь извинился за свое поспешное бегство. Ему было неприятно, что его вдруг охватила такая слабость.

— Вряд ли излишняя чувствительность принесет нам много пользы на новом месте, — сказал он.

Я обрадовался, что он так объединил нас обоих. Нечто вроде комплимента. К тому же он заговорил

не о "красоте звука", а о том, что представляется мне главным, — о чувствительности, о тонкости понимания.

Его волнение передалось и мне. Сама манера его разговора со мною была как бы провозглашением дружбы. У меня была причина быть довольным. Я еще не приехал в эту страну, которой так страшусь, а у меня уже есть в ней друг. И друг настоящий. Словно вся Германия переехала со мною в новое место.

Хайфский порт. Город, разбросанный по склонам горы. Красный автобус, точно жучок, взбирается вверх. С парохода сбросили трап, по нему поднимается на борт группа полицейских и таможенников. Носильщики в перепачканной одежде, вид у них замкнутый. Полицейские в шортах и высоких гольфах цвета хаки, открывающих обгоревшие, иссиня-красные, как свекла, колени. Лязг лебедок и пароходный гудок прорезают людской гомон. Кажется, что идет какая-то бессмысленная суэта. Переносят вещи на нижнюю палубу. Возвращаются в каюты — проверить, что ничего не забыто. Стоят на верхней палубе и орут во все горло. Напротив, за ограждением причала, столпились люди, пришедшие встречать родственников.

Скрипка у меня в руках — в такие минуты я боюсь за нее больше всего; к несчастью, я еще потерял ремень и не могу повесить ее на плечо — выхожу на верхнюю палубу. Что за какофония! Неужели кому-нибудь удастся что-нибудь расслышать в этом гаме?

Эгон подле меня. Внешне совершенно спокоен, но в глазах его начинает работать какой-то секретный механизм. Он фотографирует все: гору, полицейских, встречающих, суматоху. Быть может, он

пытается упорядочить весь этот хаос или придать ему смысл.

Нас отделяют от владельцев британских паспортов и возвращающихся местных жителей. Бюрократия наводит на меня тоску, доходящую до омерзения. Эгон не так напряжен, как я. Полицейские не повергают его в состояние тупого страха. Он побывал в руках у тех, что были похуже, но вышел цел и невредим. Проверяют наши документы и велют нам встать в сторонке. Для меня это словно тяжкий приговор. Эгон успокаивает: все эти процедуры всего лишь оправдание существования бюрократии.

Завидую его спокойствию. Быть может, он и вправду способен жить в мире счастливой простоты. Это не Эгон Левенталь, отправившийся со своей мигренью и экземой в путешествие из Германии в Палестину, но сама суть Запада, пустившаяся в путь на Восток, дабы противостоять там восточному элементу. Вряд ли воображает он себе маленького еврея, что панически гонится за заработком в стране, не нуждающейся в его мудрости, он скорее предугадывает свое существование в Палестине как захватывающую встречу между клонящейся к закату западной философией и ее восточными первоисточниками. Он ожидает процессов, долженствующих произойти в нем, как человек, воткнувший провод чайника в розетку электросети. Кипение воды — лишь вопрос времени.

Я еще сведу с собой счета за раболопное стояние перед полицейским и жалкую попытку завязать с ним беседу на ломаном английском. ("Скрипка эта играть, в Лондоне тоже...") Еще одно доказательство тезиса Греты: каждый может меня напугать. Не все мои удостоверения выправлены как полагается (несмотря на то, что верховный комиссар⁷ отказался признать гваданьини имуществом, вла-

делец коего достоин получить сертификат состоятельного человека⁸, я все же мог доказать, что приехал в страну не с пустыми руками).

А вот и представитель оркестра — твердая точка опоры в новой жизни. Но где же Эгон? Возможно, мой новый знакомый мог бы помочь и ему. Его фамилия Кляйнер, он немецкий еврей и наверняка слышал про Эгона. Он бегло говорит по-английски, хоть и с тяжелым немецким акцентом. Чиновник, занимающийся эмигрантами, относится к нему уважительно — представитель буржуазного уклада. Успокоительное зрелище: немецкий еврей говорит с властями как равный.

Эгон исчез. Разве и его кто-то встречал? В зале для пассажиров (нечто вроде гигантского склада) изрядная сумятица. Но вот кто-то пытается навести порядок, выстроить пассажиров в очередь. Меня одолевает стыд, глядя на моих соплеменников, которые беспорядочно толкаются, чтобы выиграть немножко времени. Кляйнер — член Общества друзей оркестра, которое он создает в этом портовом городе. Он воистину спасение для меня. Удивительно, насколько один человек, знающий, кто ты такой, может вернуть уверенность в себе. Минуту назад ты был никому неизвестен, беспомощен в неуправляемой толпе, и вот ты снова обрел себя, ты Курт Розендорф, скрипач, человек, достойный уважительного отношения. (Первое разочарование: Кляйнер не слышал о Квартете Розендорфа, но это не умаляет моего значения в его глазах. Я человек ценный, поскольку приглашен играть в оркестре Губермана. Я не могу удержаться и рассказываю ему, что был освобожден от экзамена в Базеле, — настолько я известен как первоклассный скрипач. Но он не знаком с порядком отбора, и потому я просто остался дураком в собственных глазах.)

Формальности улажены, и мы выходим на залившую солнцем улицу. В Германии осень, а здесь лето в самом разгаре. Странно вдруг оказаться там, где говорят на нескольких языках, ни один из которых тебе не понятен. Кляйнер снова удивляет меня. Он говорит и на иврите (он эмигрировал в Палестину в тридцать первом и уже успел выучить два с половиной языка. Иврит он учил еще в Германии, хотя и не был уверен, что он ему когда-нибудь понадобится). Я удивлен, что он торгуется с носильщиком из-за грошей. Но он объясняет мне, что торговля здесь — образ жизни.

Автобусная остановка неподалеку, и мы идем пешком следом за носильщиком, навьючившим чемодан на осла. Так странно оказаться здесь, в этом сумасшедшем средиземноморском городе. Почему-то кажется, что все вокруг не разговаривают, а кричат друг на друга. Быть может, гортанные звуки речи производят на меня такое впечатление, точно люди разрываются от гнева. Кляйнер, видно, угадывает мои мысли. Не меня первого ведет он из порта к автобусной остановке. Он улыбается, глядя на мои широко раскрытые глаза. Принимается рассказывать о себе — не потому, что ему нужно, чтобы я узнал его получше, а просто желая меня успокоить. Вот, можно, стало быть, немецкому еврею жить здесь, в этой страшной стране. У Кляйнера дом на Кармеле⁹, он доволен своей участью. Почти все его знакомые — состоятельные люди из Германии. Встречаясь, они слушают музыку — пластинки. С нетерпением ждут концерта оркестра в Хайфе. В одном из кинотеатров есть большая сцена, на которой может разместиться целый оркестр. Кляйнер — сионист и приехал в Эрец-Исраэль, когда Гитлер был всего-навсего главарем банды. Он, кажется, думает, что успел сделать из меня сиониста за

то короткое время, которое потребовалось, чтобы дойти от ворот порта до автобусной остановки. Но его миссионерская проповедь не содержит возвышенных банальностей вроде тех, что приходилось мне слышать от кое-кого из старожилов, ехавших с нами на пароходе.

Я рассказываю Кляйнеру, что вместе со мной приехал Эгон Левенталь, — немецкая колония растет, богатеет талантами, но он не слышал про Эгона Левенталья. Он ведь живет музыкой, а не литературой, объясняет он свое невежество. В литературе он застрял на Томасе Манне и Стефане Цвейге (интересно, может ли он представить себе суматоху, охватившую деятелей искусства после прихода Гитлера к власти, — все они старались побыстрее стать как можно более знаменитыми. Как сказал мне один начинающий поэт: "Опасно быть неизвестным в такие времена").

В окнах автобуса железные сетки, защищающие от камней, что бросают хулиганы.

— Я сбежал из тюрьмы, чтобы оказаться в клетке, — пытаюсь я сострить.

Чувство юмора не относится к сильным сторонам Кляйнера. Он читает мне длинную лекцию о беспорядках, которые происходят здесь уже несколько месяцев. Таким образом арабы пытаются оказать давление на англичан, заставить их отказаться от выполнения своих обязательств перед евреями¹⁰. Теперь беспорядки поутихли, — говорит Кляйнер, — сезон сбора цитрусовых. Но для большей безопасности британская армия патрулирует дороги. Английский полицейский с ружьем входит в автобус и садится на переднее сиденье. Признаюсь, его присутствие меня заметно успокаивает. Я не могу полностью преодолеть страха, но уговариваю себя, что если так много мужчин и женщин могут, рискуя

жизнью, ездить автобусом, значит опасность не так уж велика.

Дав мне денег и адрес гостиницы в Тель-Авиве, Кляйнер простился со мной, заручившись обещанием, что я буду его гостем, когда оркестр будет выступать в Хайфе.

Он хочет представить мне нескольких своих друзей — любителей музыки.

Мы провели вместе всего час, а у меня уже успела возникнуть настоящая потребность чувствовать его рядом. С его уходом я словно остался в полном одиночестве. Наверное, во мне снова усилился страх перед анонимностью. Мне необходимо, чтобы меня кто-то знал, будто такое знакомство защищает меня от чужих. С самой первой минуты я не нашел общего языка с женщиной, сидевшей рядом со мной. Она говорила на идише, и мой немецкий ее раздражал. По ее мнению, всякий еврей знает идиш, а тот, кто упорно говорит по-немецки, попросту задается. Она хотела, чтобы я отнес скрипку в багажное отделение. Держа скрипку между ног, чтобы предохранить ее от толчков, я как будто вторгаюсь в ее сферу, охватывающую две трети сиденья, — ведь я худ, а она толста. Быть может, ей пришло в голову, что я раздвинул ноги, чтобы коснуться ее толстой ляжки. Эгон прав: мы — демократы, любящие народ издали.

Горный кряж сопровождал нас на довольно длинном отрезке пути. Потом открылось пространство с низкими холмами, а на них вдали виднелись арабские деревни. Легко различить, где еврейское поселение, а где арабское. Арабские выглядят так, будто вросли в землю в незапамятные времена.

Поездка прошла без особых происшествий. В одной арабской деревне подросток стукнул по оконной сетке разбитой доской, но никого такое враж-

дебное действие не взволновало. Из всех местных неприятностей осталась только мясистая ляжка женщины, боровшейся за свои права. Но все же я вздохнул с облегчением, когда мы выбрались на приморскую низменность и поехали по территории, сплошь заселенной евреями. В жизни не приходилось мне видеть такого обилия апельсинов.

К вечеру небо нахмурилось. Под пасмурным небом я почувствовал себя как дома. Въезд в Тель-Авив я пропустил. Немудрено: он совсем не похож на большой город. Это плоский городишко — ни промышленных районов, ни делового центра. Несколько новых домов в стиле баухауз воспринимаются как-то неожиданно. Под ненастным небом можно на миг поверить, что находишься в рабочем квартале в предместье какого-то немецкого города. Но большинство домов одноэтажные или двухэтажные, в деревенском стиле, с красными черепичными крышами.

В первые часы на новом месте все детали резко запечатлеваются в памяти. Маленькие, незначительные фактики наполняются смыслом. Поведение отдельных, случайных людей становится характеристикой местности: надувший меня шофер такси, который потребовал, чтобы я уплатил еще за двоих пассажиров, — они вызвались мне помочь и так проехали какое-то расстояние; неуклюжий рассылный из пансиона, предоставивший мне самому справляться с багажом; прохожий, наткнувшийся на меня и чуть не выбивший у меня из рук скрипку, — и у него еще хватило наглости возмущаться тем, что я загораживаю весь тротуар.

Несколько дурных знаков в начале пути. Когда вам плохо, каждый скверный случай становится предзнаменованием будущего.

Ну, начал жизнь с левой ноги, сказал я себе.

Потом усмехнулся — человек прыгает в бурное море и ворчит, что вода холодна?

Прибытие в пансион Гелы Бекер было похоже на погружение в теплую ванну. Прихожая, где уже горело несколько скромных светильников, до удивления походила на прихожую одного из пансионатов средней руки на берегах Рейна: сверкающие чистой скатерти с вышивкой по краю; старинные подсвечники возле тонкой вазочки, где стоял один цветок; салфетка, скрученная в посеребренном кольце; ватные бабы на чайниках, точно наседки, сберегающие тепло в гнезде; картины на стенах изображают прелестные лужайки, прозрачные озера или вершины гор, покрытые вечными снегами; резные буфеты, снизу закрытые деревянными дверками, где скрывается то, что нет смысла выставлять на показ, а сверху — створками из отдельных квадратов стекла, которые подчеркивают блеск высящихся за ними хрустальных бокалов. Теплый, трепетный голос невысокой кругленькой женщины с более красивым, чем фигура, лицом — она поднялась с места, как только увидела меня, и пошла мне навстречу мелкими китайскими шажками.

— Герр Розендорф... — сразу и вопрос и ответ.

Хозяйка пансиона собственной персоной. Голос, зазвучавший у меня в ушах, как забытая мелодия, пришедшая на ум в тот миг, когда тебе захотелось ее припомнить. Заметный берлинский акцент, от которого у меня сдавило горло.

— Я слышала вас в Берлине в двадцать девятом, вы бесподобно играли Шуберта (фон ден Бургер там порядочно сфальшивил, ну да ладно...). Сюда, пожалуйста...

Точно твердая почва под ногами. Клочок родины в чужой стране.

Мысль о том, что я забыл на пароходе одежду

щетки, перестала меня раздражать. Даже галдеж, доносившийся из распахнутого окна и мешавший немного подремать перед предстоящим ужином в обществе Гелы Бекер (сегодня я почетный гость), воспринимался как обстоятельство, из коего можно извлечь утешительные выводы.

Гомон этот был шумом волн, в который врезались танцевальные мотивы с площадки перед кафе, расположенным на берегу моря. Крикливый саксофон и расстроенное пианино. Несколько немолодых пар грузно кружатся там под музыку. Есть в этой помехе и некая положительная сторона. Приятно убедиться, что здесь идет та же мелкобуржуазная жизнь с ее утешительной пошлостью и поверхностной музыкой, доступной всякой душе ("скверные музыканты — самые яркие представители народа", — сказал Пруст).

Мне вспоминаются слова брата Вальтера (правовверный марксист, ныне политический беженец в Голландии): "Повсюду, где существуют удовольствия среднего класса, которыми хочет наслаждаться пролетариат, есть шансы и у более "высокой" музыки. Новая буржуазия, которой еще не удалось освободиться от мелкобуржуазной системы понятий, усваивая праздные удовольствия аристократии, придает им святость".

(Вальтер произнес эту сентенцию, когда стало ясно, что я сделаюсь "прислужником хозяев жизни". Оба мы вышли из одного источника — буржуа Моисеева закона, утаивающие свое польское происхождение. Я стал музыкантом, а он революционером. Выражение "прислужник хозяев жизни" порядочно меня раздражало. Я служу самым высоким ценностям западной культуры. Он улыбнулся в ответ: "Учиться никогда не поздно". Но всякий раз как нам, участникам квартета, приходилось угро-

дать музыкальным меценатам, чтобы они и нам уделили толику своих милостей, мне вспоминались слова брата. Теперь я впервые нашел в них какое-то утешение для себя. Я мог сказать в душе: теперь я сверчок в стране прилежных муравьев. Здесь есть еще несколько праздношатающихся, кроме меня. И есть здесь музыка для пролетариата. Значит, я здесь нужен для повышения уровня культурной жизни...)

Из беседы с Губерманом мне запомнились, в числе прочего, и такие слова: повсюду, где есть состоятельная публика (собирающая программки концертов, партитуры, а иногда и использованные абонементы, будто это знаки отличия или почетные награды), вы найдете и просвещенного рабочего, готового отречься от испытанных простонародных удовольствий и купить билет на концерт. Он подпирает усталой своей спиной стены далеких концертных залов, дремлет себе там из почтения к культуре, которую не может обрести, к возвышенным звукам музыки, родившейся из иной боли (Губерман обещал проводить специальные концерты для рабочих по сниженным ценам. "Им надо дать самое лучшее, — сказал он, — ведь они строят нашу родину").

Первый ужин на новой родине — такой же, как последний на старой. Госпожа Бекер в черном вечернем платье, ожерелье из драгоценных камней в вырезе приличного буржуазного декольте, улыбка радушной хозяйки. (Кляйнер сказал: "Первые четыре дня вы ее гость. Не предлагайте платить и не задавайте вопросов. Потом о вас позаботятся".) На столе фарфоровый сервиз, украшенный цветочками четырех оттенков; бутылка красного вина, сквозь которую двоится пламя свечей, горящих в

серебряном подсвечнике; одинокая роза опирается на стебель спаржи; хрустальные бокалы и стеклянные рюмки, посеребренные столовые приборы; солонка и перечница, выполненные вдохновенным ремесленником, похожие на маленькие статуэтки эпохи барокко — я четко помню все подробности, обычно ускользающие от меня, — очевидно потому, что каждая из них выступала в ряду других знаков, долженствующих неоспоримо свидетельствовать о наличии культурной публики, которая, поднимаясь из-за такого стола, направляется к экипажам и едет в концертный зал; и даже "семейное", по свидетельству излучающей симпатию фрау Бекер, меню (быть может, чуть более "семейное", чем мне бы хотелось) изливает воспоминания о Германии — не только из-за рейнских вин и наиболее ярких примет немецкой кухни (мне подумалось, что можно было и отказаться от кислой капусты — слишком грубый намек), но именно из-за способа приготовления кушаний, из-за гвоздики в жарком, как принято в наших местах, из-за яблочного штруделя, который подают с процеженным кофе перед коньяком.

(Спрашиваю себя, смог ли бы я оплатить из своего жалованья такой пир, но, по совету Кляйнера, отгоняю всякую мысль, способную омрачить радость встречи с культурной, воспитанной женщиной, обладающей тонким вкусом. Грета могла бы мной гордиться: я на диво спокоен и умиротворен. Ни на секунду не возникает у меня потребности настроить свои струны на "камертон" госпожи Бекер. Она же ведет себя как японка, угадывающая все желания мужчины, которого развлекает. Гость — ее господин. Вам остается только устроиться поудобнее в кресле и позволить ей ублажать себя.)

Но вино ударило мне в голову, а коньяк полблескивает в умных глазах фрау Бекер, по опыту

знающей, как слаб эмигрант в чужой стране. Она преподносит гостю свое внимание, точно угощение, столь необходимое ему в нынешних обстоятельствах, чтобы немного выговориться и отойти душой. Я так и поступаю, не пытаюсь придержать язык. Как приятно обогащать новыми увлекательными подробностями о своей личности того, кто жаждет побольше узнать о тебе.

Особенно если тебе говорят, что Тель-Авив словно вырос на этаж, когда ты соблаговолил вступить в его оркестр. Голос хозяйки церемонен, певуч, он несет покой, а я безмятежен и оглушен вином, я не обращаю внимания на опасности пустого щегольства и по глупости упоминаю о похвалах, что рассыпали мне в других местах в добрые старые времена, в Штутгарте и в Страсбурге. А она, то ли из лукавства, то ли нечаянно, то ли потому, что фраза уже вертелась у нее на языке и она не хотела от нее отказываться, хоть той и не находилось подходящего места, говорит, что лучшие из артистов одновременно и самые скромные из них.

Как легко перебросить нас от тоски к счастью! Музыканты-исполнители жаждут доброго слова, точно спаниель ласки. Как приятно нам слышать комплименты, даже когда мы их недостойны.

Фрау Бекер рассказала, как растрогал ее один из наших концертов. Она старалась припомнить и ей удалось: мы играли Квартет Моцарта си бемоль мажор, opus 458 по Кехелю, Квартет Бетховена, opus 18, №1 и Трио Брамса с прекрасным соло альты. Я тоже старался припомнить, но безуспешно — мы никогда не играли такой программы. Я никогда не стану играть си-бемоль-мажорный квартет и opus 18, №1 друг за другом. В обоих глубоко печальная и очень сильная медленная часть, требующая огромных душевных сил. Наконец вспомнил, кто

играл такую программу в Берлине в двадцать девятом году. Мне незаконно достались комплименты, причитавшиеся другим. Но у меня не хватило ума вступить за оскорбленную истину.

Потом, очарованный тем, что именно здесь, в этой чужой и далекой стране, можно наслаждаться интимной беседой с родной душой, не опасаясь пошлости дешевых ухаживаний, я, конечно, рассказывал ей о своей семье и о "договоре" с Гретой. Точно стареющий холостяк на курорте.

Есть некая приятность в том, чтобы прощать себя после глупо и радостно проведенной ночи, когда был слегка пьян.

Ненастное утро. Море фиолетово-серое. Будет приятно, если начнется дождь. У меня нет необходимости никуда идти. Можно будет, закрывшись в комнате, как следует позаниматься. Долгое путешествие, несомненно, плохо влияет на пальцы.

Мысленно вспоминаю весь вздор, что наговорил вчера. Интересно, она улыбалась так лукаво потому, что поймала меня на огрехе, или она просто любительница коллекционировать человеческие слабости и ей приятно иметь на меня влияние. Она ровным счетом ничего не рассказала мне о себе, а я выложил ей все. Семейный договор, мои стремления и даже планы, в которых и самому себе не сознаешься. Остается только надеяться на ее сдержанность. Губерман один из завсегдатаев ее дома. Если она разболтает ему то, что разболтал ей я, он решит, что я приехал сюда на короткий срок — переждать время — и что у меня нет никаких серьезных намерений по отношению к оркестру. Но какое у него право требовать от меня, чтоб я до гроба оставался в этом захолустье? Он за две недели побывал в Триесте, на Корфу, в Триполи

и в Тель-Авиве. Ведь это человек, который все свободное время вместо того, чтобы поразмыслить, порхает по Европе и плетет паутину.

Я не сравниваю себя с Губерманом. Но я не должен в возрасте тридцати восьми лет смотреть на себя так, будто мне уже подрезали крылья. В глубине моей души таится глубокая уверенность в том, что я жертва политических обстоятельств. Если бы Гитлер захватил власть несколькими годами позже, я был бы сегодня известным скрипачом, которого приглашают на турне в Лондон, Париж, Бостон и Нью-Йорк. А пластинки Квартета Розендорфа продавались бы теперь по всему миру.

(Любопытно, вернулся ли бы тогда мир и в лоно семьи. В самом деле, разве нас разделили лишь потрясения последних лет? Ведь подчас в наших отношениях слышался скрежет и из-за других причин. И артистическая зависть, и различия темпераментов. Но мне удобнее не задумываться на сей счет. Боюсь, вчера я и на это по нечаянности намекал слишком откровенно. В новом месте надо остерегаться даже великодушия, следить, чтоб под его дуновением не пали перегородки, от которых ты не собирался отказываться.)

Усевшись перед столиком у окна писать первое письмо домой, я тут же отказываюсь от такого намерения. Для писания писем мне нужен полный душевный покой. Под сильным впечатлением столь резкого изменения образа жизни во мне нет той ясности ума и способности сосредоточиться, которые необходимы, чтобы выразить свои чувства в письме. К тому же, каждое слово ведь будет рассматриваться в лупу.

Когда чувства смятены, нет ничего лучше игры. Даже гаммы. Они как беговая дорожка: ты пускаешься бежать, чтоб подхлестнуть кровообращение,

пробудиться для нового дня. Постоянный распорядок дня обещает гигиену, необходимую нам для здоровья души.

Новые впечатления будут только угнетать меня.

Последний взгляд в окно: строители вкатывают тачки на верхний ярус лесов, воздвигнутых вокруг незаконченного здания; молодая женщина везет закрытую детскую коляску; бочка с керосином, запряженная мулом, и возница, размахивающий колокольчиком, которого не слышно, — и уже скрипку в руки, спиной к виду за окном, будоражащему любопытство.

Гваданьини издает чуждый звук. Несмотря на то, что я принял все меры предосторожности во время морского путешествия. Хотя мы во влажном климате, я чувствую сухость в нижнем регистре. Правда, вскоре скрипка заговорила своим голосом, теплым и сладким. Даже глиссандо не кажутся чересчур изнеженными, разве что щегольскими.

Вкусный и питательный завтрак в обществе Гелы Бекер. Душистый кофе, свежие булочки, яичница со спаржей, свежее масло и домашнее варенье из апельсиновых корочек. Почти без разговоров. Словно спокойная семья, просыпающаяся к заботам нового дня. Как деликатно дала она мне понять, что я играл слишком рано:

— Наши гости, конечно, получили большое удовольствие от вашей игры, хотя некоторые из них, наверное, еще не вполне проснулись...

И ни слова о том, как я себя чувствую в ее пансионе. Если б она спросила, мне нечего было бы ответить, кроме похвал. И не ради того, чтобы отдать долг вежливости. Я чувствую себя как дома. Вплоть до домашнего чувства неудобства. В этом как будто есть нечто, способное затронуть честь хозяйки пансиона. Я знаю себя: если бы можно было

дать какое-либо эротическое объяснение семейной атмосфере, окутывающей фрау Бекер и меня, тогда я бы чувствовал какое-то отталкивание. Да и ощущение вины появилось бы. Но поскольку во мне нет к ней никакого физического влечения, даже такого, какое бывает просто так, само по себе, — мне очень легко с ней.

Опасаясь, правда, что это не взаимно.

Безнадежная участь: ко мне тянет женщин, мне не желанных. А теперь я буду вынужден окружить себя стеной любезности, чтоб не ранить ее. Но для этого не требуется особых усилий. Ведь я проведу здесь всего четыре дня.

Начало было многообещающим: тихий трудовой город, где не ощущается никаких признаков напряжения из-за политических беспорядков; первые сутки в пансионе Гелы Бекер, на типично немецкой территории, точно Германия в прекрасную, исполненную надежд эпоху Веймарской республики, прием одновременно радушный и сердечный, изобилие пищи и приятная погода, поразительное число любителей музыки, с нетерпением ожидающих первого концерта под управлением Тосканини, — все это скрадывало ощущение чуждости. И я даже уверовал было, что период акклиматизации на новом месте пройдет без метаний от надежды к отчаянию при каждом отклонении от правильного порядка вещей. Однако потом начались разочарования. Мне сообщили, что я не буду исполнять партию первой скрипки на первом концерте, несмотря на четкое обещание со стороны Губермана. Я опоздал, и Тосканини уже выбрал себе концертмейстера. Я решил принять это мужественно, но пережитое разочарование отразилось на игре. Тосканини бросил на меня гневный взгляд. Я заиграл как следует, с полной сосредоточенностью, стара-

ясь всецело отвечать его требованиям.

Неприятно, что придется остаться покуда в пансионе. Дело в том, что я не предупредил заранее, желаю ли я снимать комнату или квартиру (разница в деньгах очень велика). Теперь придется подождать некоторое время, пока мне подыщут комнату, такую, как я просил, где я мог бы играть в дневные часы, а также давать уроки. Правда, Гела Бекер сказала: "Прошу вас не беспокоиться о платежах, мы уладим это с руководством оркестра". Но я намерен заплатить ей сполна, до последнего гроша. Жаль, что денежные заботы поглощают так много внимания, но выяснилось, что зарплата оркестранта, даже концертмейстера, хоть и не мала, но не позволит мне скопить денег на поездку в Америку, если передо мной откроется такая возможность.

Концертный зал, где мы играем, ужасно скверный. Идут репетиции, а строительство еще не закончилось. В нем нет настоящего фойе. Вход прямо с улицы в зал. Правда, тут строят какую-то деревянную перегородку, но она не сможет приглушить звуков, доносящихся извне. Удивляюсь, что Тосканини согласился дирижировать оркестром в таких условиях.

Единственный луч света — это отношение рабочих. Они вызвались работать по ночам, чтобы освободить зал для репетиций днем, и не просили добавки жалованья за сверхурочные часы и ночную смену. Все, что они просили, это билеты на концерт. (Вчера вечером я заговорил с одним из рабочих. Он начал изучать право в Мюнхене и уехал в Эрец-Исраэль до окончания курса. Большой поклонник Малера и Курта Тухольского. Странное сочетание, на мой вкус, но, поскольку у человека всего лишь незаконченное юридическое образование, это

можно понять. Во всяком случае, после беседы с ним я начал понимать требование Губермана о специальных концертах для рабочих.)

Трудно сказать что-нибудь определенное об оркестре. Настройка инструментов в перерывах — когда можно узнать что-то о характерах музыкантов, по крайней мере об их потребности производить впечатление на коллег, — оставила у меня впечатление, что здесь есть музыканты с высоким техническим мастерством. Что и понятно после того, как было отобрано семьдесят два оркестранта из пятисот претендентов (во Франкфурте один не прошедший по конкурсу гобоист поразил меня фразой: "Я умру, потому что посредственно играю на гобое"). Но оркестр этот пока еще собрание отдельных личностей, которому необходим длительный период, чтобы добиться слаженности, стать истинным оркестром. Друг подле друга сидят перед одним пюпитром люди, у которых нет никакого общего языка, и не только в разговоре. Они играют по одним и тем же нотам, но не одну и ту же музыку. Существует большое различие в восприятии между людьми, получившими музыкальное образование в Германии, и музыкантами других стран. Поведение на репетициях тоже оставляет желать лучшего. Некоторые говорят между собой в каждой возникающей паузе, и репетиция иногда, несмотря на бесспорный авторитет престарелого маэстро, превращается в некий диалог глухих. А когда маэстро взорвался и выкрикнул: "Perca miseria!"*, вертевшееся у него на языке, некоторые оркестранты подумали, что он попросил forte**, и набросились с негодованием на нежное и

* "Жалкая свинья!" (*ит.*).

** Громко (*ит.*).

едва слышное *mezzo piano** во второй части Сонаты Брамса.

Да и программа первого концерта мне не по вкусу. Длинновата, однообразна, полна многозначительных жестов, не имеющих отношения к делу. "Шелковая лестница" Россини — жест в сторону Италии; Вторая Брамса, Неоконченная Шуберта, интродукция к "Оберону" Вебера, а также ноктюрн и скерцо из "Сна в летнюю ночь" Мендельсона — чтобы не обделить евреев. Программа, подходящая скорее для летнего концерта под открытым небом, чем для торжественного музыкального события "исторического значения", как говорят здесь из-за естественной склонности раздувать каждое первое событие в стране эмигрантов, создающейся по планам идеологов. Набравшись мужества, скажу, что и темпы Тосканини мне не по душе. Слишком быстро и чересчур энергично даже в тех местах, где следует дать "напитку переливаться на языке", как говаривал мой учитель Карл Майер. Здесь великий маэстро окружен преклонением, к нему относятся как к герою. Он отверг приглашение участвовать в Байрейтском фестивале¹¹ и поехал "ради человечества" дирижировать оркестром беженцев.

Тель-Авив, 31.12.1936

Дорогая Грета!

Это мое второе письмо. На первое я пока не получил ответа. Хочу верить, что оно еще не дошло только из-за плохой работы здешней почты. Мне сказали, что почта в европейские страны отправляется и прибывает в установленные сроки. Будет жалко, если то письмо пропало. Я не смогу

* Довольно тихо (*um.*).

повторить его. Впечатления уже не столь свежи, как в первые дни, ведь и к переменам привыкаешь быстро. Я там подробно описал тебе свое путешествие по морю, людей и впечатления от Тель-Авива, а также первые свои соображения о возможности наладить здесь приемлемую музыкальную жизнь.

Здесь почти не чувствуется приготовлений к Новому году, и во мне с новой остротой проснулась тоска. Может, оттого, что мне вспомнилось, как мы праздновали Новый год в прошлый раз, как оба напились допьяна, упрямо стремясь позабыть обо всех тревогах, и как потом вели себя, словно новобрачные в медовый месяц.

Тем временем состоялся первый концерт. В мире писали о нем так, будто это событие невесть какой важности. Быть может потому, что встреча между Губерманом и Тосканини — политическая новость. Оба они распространили свое влияние за пределы музыки, вышли в самую жизнь. На мой взгляд, это был обычный по европейским масштабам концерт, хотя играли с энтузиазмом. Исполнение, которое в европейском городе сочли бы средним, здесь же слышат в нем глас истории. Я не хотел бы казаться циником, но что-то во мне восстает, когда пытаются использовать музыку как средство провозглашения немusикальных идей. Но возможно, в наше время все каким-то странным образом превращается в политику. Музыканты, находящие в себе нравственные силы, стараются использовать их для того, чтобы изменить мир. Наверное, всецело отдаться музыке может сегодня лишь человек вроде меня, не обладающий никакой силой. Я не критикую Губермана или Тосканини, хотя они и проповедуют идеи, не имеющие никаких шансов на будущее. Объединение Европы — сегодня, когда все рассыпается на глазах! (По этому поводу я слы-

шал препакостное замечание: Губерман отдается возвышению человечества потому, что уровень его игры снизился. Где у него нет конкурентов среди молодых скрипачей, так это в умении завязывать связи и создавать о себе впечатление в обществе... Но мелкие люди есть повсюду.)

В английской газете, выходящей в Иерусалиме, о нашем концерте писали с провинциальными суперлативами: "Впечатляющее, торжественное событие. Исполнение отличалось исключительной вдохновенностью, а дирижерская палочка маэстро была подобна волшебной палочке, чудом извлекавшей звуки ликующей красоты..." Не страшно. Критическое чувство разовьется по мере того, как здесь будут слушать хорошую музыку. Чтобы произнести вслух, что оркестр должен много работать, прежде чем станет слаженным музыкальным ансамблем, нужно много мужества. Трудно сказать, что я им обладаю в достаточной степени. Я осмелился высказать свое мнение лишь двум-трем людям. Трудно преодолеть восторг пятнадцати тысяч слушателей — три тысячи в выставочном зале и еще двенадцать тысяч радиослушателей, — которые буквально вылезали из кожи от избытка чувств. Впрочем, чего еще можно от них ожидать? Они в жизни не слышали настоящего оркестра, вроде того, какой был в Берлине, пока оттуда не убрали евреев. Правда, некая толика их восторженности пристала и ко мне — все-таки страна, где еврей может чувствовать себя свободным. Но должен сказать, что особенно разволновался, когда встретился после концерта с Левенталем (я исхожу из того, что первое письмо все же дошло по назначению. Но если нет, то речь идет об известном писателе. Да, он тоже здесь, и мы очень подружились еще в море), и он рассказал мне, что решил остаться в Эрец-Исраэль... Тот факт, что

такой человек, как Левенталь, способен жить здесь, большое облегчение для меня. Приятно сознавать, что рядом есть люди, с которыми можно обменяться словом о других материях, кроме музыки. Тогда же представилась возможность познакомиться и с подругой Левенталья Хильдой Мозес. Она рассказала мне, что встречала тебя в Берлине, лет десять назад, у Лихтенфельдов. Сказала также, что ты ее наверняка не помнишь, поскольку она ничем особым не выделялась, а ты была гвоздем программы вечера. Эта женщина несколько моложе нас, высокая, атлетического сложения, с сильным, прямым и умным лицом и челюстью боксера. Левенталь любит сильных и не умничающих женщин — ума у него больше, чем надо на двоих.

Жалованье мое, как я уже писал тебе, не бог весть какое, но и не слишком низкое. После того, как были сняты все сомнения насчет должности концертмейстера скрипок, я получаю на руки сумму, которой мне достаточно на скромную жизнь; не отказывая себе ни в чем необходимом, я могу еще немного откладывать. Через два-три месяца сумею выслать вам с Анной билеты (обратные, не беспокойся), чтоб ты могла своими глазами познакомиться со здешними условиями. Не повредит обдумать все это еще раз. Здесь есть по крайней мере трое хороших педагогов по фортепьяно (двое из Германии, один из Чехии), и даже глава Культурбунда переехал в Эрец-Исраэль. Говорят — сам я еще не успел в том убедиться, — что имеется и музыкально одаренная молодежь, на весьма приличном уровне. Вскоре я начну давать уроки отличившимся ученикам, — конечно, и для того, чтобы увеличить свой заработок, но главным образом, чтобы принять участие в воспитании музыкантов, которые в будущем, быть может, вольются в оркестр. Но даже если они и

не найдут себе места в оркестре, новое поколение необходимо, ибо составит публику для оркестра после того, как прекратится бегство из Германии. Пока я еще живу в пансионе, о котором писал тебе в первом письме, у фрау Гелы Бекер, той самой, что много делает для оркестра. Таким образом я экономяю немало денег (каждое утро мы шутя спорим с хозяйкой, поскольку я хочу уплатить ей, а она отказывается принимать деньги, говоря, что это она должна мне платить — такое удовольствие я доставляю ей своей игрой...), но я решил вскоре подыскать себе комнату, потому что мне неприятно жить за ее счет. Да и кто знает, каким образом придется когда-нибудь с нею рассчитываться?

Пиши мне, дорогая моя, подробно обо всем, что происходит у вас. Даже о самых несущественных мелочах. Особенно о них. Важные новости доходят сюда тысячью путей. Даже и те, о которых не пишут в газетах. Высокопоставленный служащий в канцелярии верховного комиссара, у которого есть приятели в германском министерстве иностранных дел, рассказывал, что там весьма недовольны резким ухудшением отношения к Германии со стороны мировой общественности. Быть может, это признаки отрезвления.

Глубоко любящий тебя
твой Курт.

Дорогая Анна!

Мама наверняка расскажет тебе о том, что я написал ей, а потому не стану два раза писать об одном и том же. Добавлю лишь, что в такие тяжкие дни нам, маленьким людям, не остается ничего, кроме одного — отдаться своей работе и постараться делать ее как можно лучше. И ты тоже будь умницей, не забрасывай занятий. В особен-

ности же упражняйся по несколько часов в день, не ленись. Наш природный талант — это лишь малая часть дела. Работоспособность, терпение отрабатывать мелочи, не уставая от бесконечных упражнений, — все это не менее важно, чем чувство музыки и хороший слух. Я надеюсь, что мама тщательно следит за тобой и не позволяет тебе быть небрежной.

Я живу в пансионе возле моря в маленьком симпатичном городке, где все дома белые и новые, у меня ни в чем почти нет недостатка, кроме моей любимой семьи. Но я надеюсь, что в конце концов мы встретимся и снова заживем той прекрасной жизнью, какая была у нас до тех пор, когда победила дикость и дурные люди взяли власть в свои руки. Пустыни я пока еще не видал и верблюдов тоже видел только однажды из окна. Они шли караваном, неся на горбах ящики с песком и камешками, которые называют гравий, — они используются для приготовления бетона в строительстве. Здесь строят в то время, когда в других местах лишь все время разрушают. Но нужно быть оптимистом. Правительства приходят и уходят, а музыка останется вечно. И куда бы мы ни отправились, она будет сопровождать нас.

Я откладываю немного денег для того, чтобы мы могли вскоре увидеться. У меня есть здесь один приятель, отличный пианист и великолепный педагог, он будет рад учить тебя, когда ты сюда приедешь. Кто знает, быть может, настанет день, когда ты выступишь с нашим оркестром, и я буду очень гордиться тобой.

Твой отец, скучающий по тебе день и ночь.

Соблазн, перед которым я не смогу устоять: за уроки одной девочке лет четырнадцати я бесплатно

получу комнату в квартире, где проживает семья из трех человек, близко от моря, в рабочем квартале на севере. Дом двухэтажный, в нем живет всего четыре семьи. На углу улицы автобусная остановка. За несколько минут можно добраться до выставочного зала.

Это значительная экономия, ведь плата за квартиру здесь выше, чем за уроки.

Я много думаю о деньгах. Утешусь хоть тем, что они нужны мне для благородной цели. Я верю, что если сумею убедить Грету приехать в Эрец-Исраэль, она согласится остаться здесь.

Была загвоздка с девочкой. У меня нет терпения учить начинающих. Мне сказали, что она три года занималась у преподавателя музыки в школе для детей рабочих. Я расспросил о нем. Каждый, кого я о нем спрашивал, улыбался с какой-то насмешливой симпатией, это вызвало у меня подозрение, что основа испорчена и мне придется начинать все сначала. Потом выяснилось, что человек этот талантлив как бес, но ему трудно решить, чем он хочет на самом деле заниматься. Мне хотелось расспросить его про девочку, но он тем временем исчез из страны — записался добровольцем в интербригаду, в Испанию. Я пожалел, что мы не встретились. Этот тип напоминает мне брата, куда более талантливого, чем я, который упрямо решил стать профессиональным революционером.

Я известил родителей девочки, что дам им ответ после того, как проэкзаменую ее. Ведь не стану же я растрачивать свое время на ученицу, у которой нет никаких способностей, только ради того, чтобы сэкономить несколько грошей.

Вчера я побывал там. Место очаровало меня с той минуты, как я оказался на улице. Маленькие домики, отделенные друг от друга палисадниками.

Дворы обнесены изгородями из сетки или из камня, оплетенными вьющимися растениями. За ними растут апельсины, гуайява и виноград. Вся улица выглядит как коридор, ведущий к морю. Замощены только тротуары. Между ними идет песчаная дорога, где играют дети. Повозка, запряженная парой мулов, движется по ней со скоростью пешехода... Я почувствовал себя словно в деревне.

Дом стоит немного особняком, в конце улицы, отделен от других пустырем. Палисадник его довольно обширен, туда выходят по лестнице. Вымощенные камнем дорожки ведут к входу и к мусорным ящикам, находящимся в маленьких домиках, покрытых железной кровлей. Бодрая травка пробивается в трещинах между камней (это напомнило мне деревенский дворик в окрестностях Мангейма, где жил один наш родственник), а также покрывает всю площадь двора, кроме лунок у подножья деревьев, кроны которых доходят до окон второго этажа, но не загораживают моря.

Комната просторная, в два окна; одно выходит на море, другое во двор. Мебель — кровать, стол, два стула и плетеное кресло — скромная, но хорошо сделанная (руками хозяина, он столяр и работает мастером в организации подрядчиков в здешнем профсоюзе). Есть только один явный недостаток — отсутствие отдельного входа. Чтобы попасть к себе в комнату, я должен пройти через прихожую, куда выходят двери из кухни, туалета, ванной и двух жилых комнат, двери которых, как видно, всегда открыты. Но, по зрелом размышлении, может, это и к лучшему. Если я хочу отдаться музыке, только лучше, что неудобно приводить женщин. Кроме того, есть одно неоспоримое преимущество. На протяжении большей части дня квартира пуста. Отец работает за городом, дочка в школе, мать тоже

работает и возвращается только под вечер. ("Вы сможете играть здесь сколько душе угодно, сможете приглашать учеников, даже заниматься камерной музыкой, — сказала мне хозяйка, — соседи ничего не скажут. Здесь нет ни души в утренние часы. Все — рабочие люди", — произнесла она с гордостью, напомнившей мне брата в тот день, когда он, вернувшись после дня работы на фабрике, с гордостью показывал свои загрубевшие ладони.)

Экзамен девушке, которого так опасались родители, я устроил только для формальности. Ради комнаты, предложенной на таких условиях, я готов был вступить в сделку с совестью и давать уроки даже девице менее способной, чем та, что стояла передо мной, сжимая в сильных руках убогую скрипку. Она исторгала из нее жалкие звуки движениями смычка, свидетельствовавшими более о ее учителе, нежели о ней самой. Девушка вовсе не горела желанием преуспеть, как хотели родители. Вся эта история с самого начала была ей не по нраву. Но, видно, я показался ей менее странным, чем она себе заранее представляла, и она готова была посвятить музыке чуть более необходимого минимума. Даже совершала трогательные усилия, стремясь сообщить трепет левой руке, чтоб звук вышел теплее. Слух у нее хороший, он помогает исправлять ошибки, которые совершают пальцы левой руки, в глазах у нее проносится странная искра, острая, быстрая, полная какого-то любопытства, какого-то вызова, — из-за чего мне подумалось, что не одна только забота о музыкальном воспитании побудила родителей сделать мне столь щедрое предложение, но и опасения, что станет делать в свободное время такая кипящая жизнью девушка (она физически развитая, плотная, хорошо сложена, я даже подумал, что ей восемнадцать, хотя

ей всего пятнадцать с половиной), которая проводит три из семи вечеров в неделю в молодежной организации. Из-за этого-то беспокойного взгляда и возникло у меня ощущение, что в этой девушке дремлет склонность к искусству, которая может развиться, если у нее будут хорошие учителя.

Я изобразил равнодушно-поучительную мину, скорее для себя самого, нежели ради родителей, — плоды дурного воспитания, полученного в отчем доме: "Если ты заключил удачную сделку, не показывай, что доволен", — и сказал: "Все придется начинать сначала, менять всю основу: как держать скрипку, смычок, как стоять, словом, — все..." Они были так счастливы, что я согласился давать уроки их дочери, — словно это достаточное свидетельство ее необыкновенной одаренности, — что ее мать тут же предложила также стирать мое белье — предложение, сразу разрешившее одну из самых неприятных проблем, запомнившихся мне с холостяцких времен. Я так обрадовался, что сразу вызвался отдавать хозяевам контрамарки, причитающиеся мне как концертмейстеру оркестра.

Осталось еще показать мою комнату Геле Бекер, чтоб она утвердила выбор (она обращается со мной как с рассеянным артистом, не способным разумно решать практические дела), будто в таком простом договоре может таиться какой-то подвох. Сразу после этого я запираюсь в своем углу, по крайней мере на срок, предусмотренный моим договором с дирекцией Симфонического оркестра Эрец-Исраэль.

Собственное жилье, строгий распорядок дня, постоянные серьезные занятия, упорядоченное питание, умеренный сон, ежедневное изучение иврита (добрая хозяйка вызвалась мне помочь) — все это может направить мою жизнь в правильную колею, а ведь без этого я просто пропаду.

После того, как все это устроится, мне будет не доставать только одного — камерной музыки.

Чем больше играю я в оркестре, тем больше у меня потребность в камерной музыке. Игра в оркестре прививает опасные привычки. Там ты освобожден от тонкостей выражения, без которых твоя игра не более, чем правильное воспроизведение ряда нот и динамических оттенков.

Непростое дело подобрать камерный ансамбль. Я уже играл в нескольких квартетах, был у меня и свой квартет, и я знаю, как трудно найти коллектив, хоть и небольшой, из трех-четырех человек, которые понимали бы друг друга с полуслова, благодаря чему совместная игра становится открытием, а не бесконечной борьбой за интерпретацию. Я не боюсь такой борьбы, подчас разногласия между людьми, у которых есть что сказать, только обостряют чувства. Бывает порой приятно уступить тому, у кого есть свои ясные музыкальные принципы и он не подчиняет их ни техническим ограничениям, ни установкам обожаемого учителя.

Порядок работы тоже очень важен. Некоторые любят играть подряд целые части, не отрабатывая деталей, пока "музыка не войдет им в пальцы". Часть квартета, продолжительность которой не превышает нескольких минут, они воспринимают как одно целое, и попытка построить ее из единиц в две-три ноты представляется им бессмысленной — зачем резать по живому, ведь все равно исполнение зависит от вдохновения, оно подвержено колебаниям из-за настроения, погоды, зала, публики и общего душевного склада. Это все счастливые дилетанты. Они не избавляются от своего дилетантства и после того, как сделают музыку профессией. Есть очарование в такой игре, когда все надежды воз-

лагаются на весьма вероятную, впрочем, возможность того, что присутствие публики пробудит в нас внутреннее волнение, поведет за собою, заставит выжать из инструментов и из самих себя более того, что можем мы добиться упорными упражнениями. Но всегда есть опасность, что при определенных условиях, когда громоздятся друг на друга отягчающие обстоятельства, взявшиеся неведомо откуда, исполнение будет очень дурным, ниже приемлемого уровня, безответственным по отношению к тем, кто с полным основанием видит в билете на концерт контракт, не подлежащий нарушению. Кстати, у дилетантов есть еще тенденция увлекаться чувствами — они ускоряют бурные части произведения до того, что стираются все важнейшие их особенности, или лелеют нежные, ласковые мелодии, растягивая их до скуки. В таких ансамблях я веду себя как регулировщик, останавливая тех, кто чересчур увлекся скоростью, и подгоняя тех, кто застрял на перекрестке.

Бывают музыканты, жадные до работы. Они отрабатывают мельчайшие детали, полагая, что целостность выражения есть результат правильной последовательности отшлифованных частей и пунктуального следования за развитием общего замысла, из них вырастающего. Они не пропустят ни одного меццо-пиано, не задавшись вопросом о его точном смысле, — находится ли оно здесь, чтобы выразить некое ослабление мощи звука, или лишь намекает на то, что не следует чересчур серьезно воспринимать стремление к еле слышному звуку ("Не стоит снимать шляпу и застывать в благоговейном страхе перед этим меццо-пиано, — повторял мой учитель Карл Майер. — Ты не в церкви. Ты говоришь тихо просто потому, что нет нужды орать"). Репетиция с таким коллективом может

быть делом крайне утомительным. Сыграют полстрочки и пускаются в долгий спор по поводу каждой ноты. Или еще того меньше — по поводу характера акцентированного звука: как кивок головой цыганки? как гневный окрик? как стон боли?

(— Если бы можно было обозначить точными цифрами динамику, тогда каждый мог бы играть Моцарта... — сказал я однажды дирижеру, попросившему меня играть громче. — Не я играю слишком тихо. Это оркестр играет слишком громко.

Он пожал плечами, выразив тем свое раздражение, и произнес:

— Чтобы услышать вас, публике придется затаить дыхание.

— Для того она и приходит на концерт, — отпарировал я.

Один из тех пустых споров, где власть принадлежит дирижеру).

Такие музыканты читают партитуру, точно это тайнопись, где зашифрованы тонкие намеки и где следует разгадать гораздо более, чем написано в тексте.

Я один из них. Я не верю в гениальные импровизации. Я готов отдаться потоку, но лишь такому, что несется в известных мне берегах. Никогда не дам я воли чувствам иначе как в рамках, выверенных умом. Я не буду буйствовать больше, чем позволял себе глухой гений, живший в первой четверти девятнадцатого века. В его музыке я слышу душевную бурю человека, в котором глухота лишь обострила ясность ума во всем, что касается границ его свободы. И если я знаю теперь, что глупо было отстаивать прометеевские позиции, обращаясь к незначительным принцам, избалованным и ленивым сынам венской знати, то это не позволяет мне умничать, играя его патетический гнев. Я

бдительно слежу за мельчайшими изменениями в развитии темы и спрашиваю себя, почему он пошел этим путем, а не иным. Я пытаюсь понять даже то, что вообще не поддается определению. Только после этого я позволяю себе исполнить подряд целую часть произведения от начала до конца.

Со мной трудно работать. Сперва я кажусь человеком легким, который не отстаивает своего мнения и не имеет потребности быть в центре событий. Это заблуждение. Когда начинаем играть, я словно показываю когти. Тогда партнерам кажется, что во мне есть коварство. Но это неверно. Просто у меня очень четкие музыкальные принципы, хоть их не всегда можно определить словами. Утверждения типа "Я слышу это так" не нравятся опытным музыкантам. Некоторые видят в этом даже неуважение к себе. Как будто они ученики, которым предлагают подражать учителю, — порочная педагогическая система, всеми осужденная.

На мой взгляд, в квартете все зависит от второй скрипки.

Трудно найти человека, игра которого будет как бы отражением твоей игры. То есть, чтобы даже в мельчайших подробностях его игра была похожа на твою и чтобы он, несмотря на это, согласился постоянно исполнять партию второй скрипки.

Знаменитому квартету нетрудно подыскать разочаровавшегося в себе скрипача даже весьма приличного уровня, который согласился бы улучшить свое положение, вступив в знаменитый коллектив. Немного шансов на то, что он останется здесь надолго. Он будет, сжав зубы, исполнять партию второй скрипки, пока перед ним не откроются более привлекательные возможности. В большинстве случаев он поиграет в таком квартете два-три года, а потом попытается создать собственный ансамбль.

А если останется — оттого, что добиться этого ему не удастся, — то будет играть плохо: это человек, потерявший надежду играть лучше. При таком настрое его вклад в ансамбль будет слишком мал. Быть может, он будет даже отрицательно влиять на остальных. Он будет играть так, будто партия второй скрипки не имеет никакого значения. Нет заблуждения более пагубного.

Можно с некоторым преувеличением сказать: хороший исполнитель партии второй скрипки видит в этом свое предназначение. Он исполняет свою, порой скучную партию так, будто на ней держится все произведение. Он играет с кротостью философа, знающего, что если бы маляры не усовершенствовали кистей и красок, то художники не сумели бы создать своих шедевров. Если бы сопровождение было лишь барабанным боем ритма и гармоническим "наполнением", то от него можно было бы вообще отказаться. Еще одно важное качество скрипача, придающее его кротости ту красоту, которой часто недоставало праведникам, — чувство юмора.

Скажут, что требования эти преувеличенны. Но в некоторых великолепных квартетах нашего времени есть постоянная вторая скрипка, исполняющая свою святую работу со скромной гордостью. Миновали времена Иоахима, который ездил в одиночестве из города в город, в каждом собирал вокруг себя трех музыкантов и выступал с ними после двух-трех репетиций в квартете, коим правил твердой рукой, с полным авторитетом знаменитого скрипача, требующего беспрекословного подчинения. Так, наверное, можно было играть отдельные квартеты Гайдна и несколько юношеских квартетов Моцарта. Но не более того.

Завышены мои требования или нет, но, кажется,

я нашел человека, которого ищу. И это после того, как наедине с собою отверг несколько музыкантов из состава первых и вторых скрипок в оркестре. Одного, игра которого весьма отшлифована и даже блестяща, я отверг, услышав, как он играл за кулисами партиту Баха: все внешне. Лак. Души нет. Второго и третьего я отверг из-за свойств характера. Четвертого — потому что он говорит только по-венгерски. Пятого — потому что у него двое маленьких детей и болезненная жена и он так удручен внезапной переменой в своей жизни, что, боюсь, повредился умом (я спросил, каково его мнение о квартете, — он посмотрел на меня так, точно я свалился с неба, точно я предложил ему каторжные работы без оплаты). И тогда я стал потихоньку прощупывать моего кандидата.

Его зовут Конрад Фридман. Он родился в маленьком местечке в Саксонии. Отец его, служащий коммерческой фирмы, правоверный еврей, стремясь дать детям всестороннее образование, послал их в христианскую школу. До двенадцати лет Конрад был истовым христианином, к душевному прискорбию родителей. В двенадцать лет пережил кризис. Я так и не смог понять, какой именно. Он снова стал евреем и, по своему обыкновению, со всей серьезностью; последовательность упрямого подростка привела его к сионизму. Отец согласился послать его в Высшую школу иудаистики¹² в Берлине. Там он проявил особый интерес к еврейской истории. Музыка была только увлечением, хотя учитель затратил трогательные усилия на то, чтобы поставить скрипку впереди истории. Когда ему исполнилось шестнадцать, Конрад превзошел своего учителя музыки ("Но не из-за убедительности его увещаний или из-за музыки, а по негативным причинам: мне опротивели компромиссы нашей школы,

это извечное ни рыба ни мясо — меня учили быть патриотом Германии и одновременно гордиться какой-то неведомой славной еврейской традицией”). Но и в консерватории, которой он с тех пор отдавал все время, он не посвятил себя скрипке. История музыки интересовала его больше. Правда, на его счастье, игра давалась ему легко. Он одарен абсолютным слухом, а интеллектуальная любознательность распространялась и на технические вопросы. (Да и фигура помогает. У него очень широкие плечи, тяжелая голова, сильные пальцы и чрезвычайно длинные руки. Скрипка очень устойчива под его тяжелым подбородком, и левая рука может свободно, без усилий, бегать по струнам. И если есть тут место для шуток — нос у Фридмана тоже очень ”скрипичный”. Нос у него крючковатый, как у Паганини, и глаза хищной птицы, большие и устрашающие, тоже как на известном наброске, изображающем итальянского виртуоза.) Игра его несколько небрежна, если учесть такие данные. Но это, по его собственному свидетельству, оттого, что его никогда не интересовали упражнения как таковые. Поскольку он не стремился к карьере солиста, то решил избавить себя от тщетных усилий. Его интересует только камерная музыка (вдохновляющий знак).

Кстати, он тоже из тех, кому не требовалось проходить вступительных экзаменов. Он из ”местных”, из тех, кого Губерман отобрал в оркестр еще до того, как начались экзамены. Его стаж в Эрец-Исраэль не слишком велик — он приехал сюда в тридцать втором, — но этот факт, по-видимому, дал ему некоторое преимущество. Интересно, выдержал бы он суровые экзамены, устроенные в Базеле. С моей точки зрения, это совер-

шенно не важно. Приехав в Эрец-Исраэль, Фридман вступил в молодежное поселение в качестве сельскохозяйственного рабочего и учителя. До всеобщей забастовки арабов¹³ он постоянно ездил в Иерусалим на попутном грузовике, возившем сельскохозяйственную продукцию, — играл там фортепьянные трио с женой британского чиновника и профессором из Еврейского университета¹⁴. Когда несколько лет назад Губерман приехал в Иерусалим, ему представили трио, гордость города ("Я до смерти боялся, когда мы играли перед ним. Мы выбрали отрывок из трио Брамса, которое могли играть в полную силу, и на мое счастье Губерман остановил нас раньше, чем мы дошли до первого пианиссимо..."). Он сам нашел в том, что его пригласили играть в оркестре без экзамена, нечто порочное. Я успокоил его. Не он один такой. Он засмеялся с очаровательной скромностью, когда я привел себя в пример. В этом смехе не было никакой лести. Он еще не знал, куда я гну.

Я впервые обратил на него внимание, когда он согласился со мной, что темпы Тосканини слишком быстры и не подходят ко Второй Брамса. Потом он отважился также покритиковать систему работы маэстро. Быть может, он сказал это потому, что нашел во мне внимательного слушателя. Но у меня было впечатление, что он, не колеблясь, выразит свое мнение, даже если все будут с ним не согласны. Мне нравятся такие люди, свободные от поклонения авторитетам, но и не увлекающиеся опровержением мифов просто, чтобы произвести впечатление. Мы разговорились, и я обнаружил, что во всем, касающемся камерной музыки, он мой единомышленник. Он не относится к тем, кто считает, будто над известными концертными залами веет святой дух, коему надлежит возносить молитвы и заклина-

ния. Он, как и я, знает, что святой дух в кончиках пальцев, в дереве, в смоле, в струнах и конском волосе и что нужно изрядно потрудиться, чтобы извлечь его оттуда, что вдохновение — это навык, приходящий благодаря невидимым глазу усилиям.

Вторично мы разговорились в молодежном поселении. Я поехал туда навестить друга, эмигрировавшего в Эрец-Исраэль сразу после получения докторской степени. Из-за того, что в близлежащем арабском городе было объявлено военное положение, отменили последний автобус, отправлявшийся из поселения, и мне пришлось заночевать там.

Вечером, проходя мимо столовой, я услышал музыку. Из любопытства подошел к окну. С удивлением увидел я Фридмана. Он играл сонату Моцарта. За пианино сидела девушка в длинном белом платье, с толстой косой. Я тихонько прошел в кухню и ждал перерыва. За непокрытыми столиками сидела молодежь, усталые лица свидетельствовали о том, что лишь сознание святости исполняемого долга удерживало публику на месте. В игре пианистки не было ничего, что могло бы возвысить душу. Она была по пианино с необузданным воодушевлением, заглушая звуки скрипки, милой и нежной. Казалось, Фридман и сам чувствовал это, но не вступал в "противоборство". Всякий раз, как ему предоставлялась возможность, он давал пример своей, более тонкой интерпретации. Но благой пример, к сожалению, не оказывал воспитательного действия на упрямую партнершу, ее красивое и тяжеловатое лицо свидетельствовало о том, что она из тех девушек с характером, на которых трудно повлиять. На мой взгляд, Фридман играл превосходно. Не то, чтобы я не нашел там и сям недостатков. У кого их нет? Но его серьезность и скромность произвели на меня впечатление —

как и то обстоятельство, что он извлекал особенно красивые звуки в низком регистре. В этот миг и мелькнуло у меня в голове: вот вторая скрипка, которую я ищу. Скрипач, умеющий играть Моцарта (на мой взгляд, Моцарт самое высшее испытание: тот, кто не может играть его с должной кротостью, лучше пусть удалится от камерной музыки).

Еще один момент произвел на меня впечатление: он не идет на поводу у публики. У него есть мужество играть людям, пришедшим из коровников и птичников, серьезную музыку, а не какое-нибудь скерцо-тарантеллу, где беглость пальцев воодушевляет и тех, кто ничего не понимает. Потом выяснилось, что это был отнюдь не заранее объявленный концерт. Фридман и его подруга просто играли для себя в том единственном месте, где есть пианино, а публика собралась сама собой. (Под конец по просьбе публики он сыграл еще "Рондо каприччиозо". Приходилось мне слышать и более изящное исполнение...)

Когда он закончил, я вышел из кухни в столовую. Увидев меня, Фридман страшно смутился.

— Вы давно здесь?

— С Моцарта.

Он извинился с трогательной детской застенчивостью. Они не собирались выступать, они не готовы, не репетировали (на его диковатом лице показался несвойственный ему румянец), они не могли просить людей не входить, ведь это общественное место, принадлежит всем, а поскольку уже собралась публика, было неловко время от времени прерываться, "чтобы заняться частностями", и так они невольно стали "давать концерт".

— Вы играли отлично. Только вот партнерша ваша забыла, что слово "фортепьяно" образовано

из двух слов, и одно из них означает "тихо", — пошутил я.

Фридман не только не улыбнулся, но решил, что на мое легкомысленное замечание следует отреагировать серьезно, даже, сказал бы я, осуждающе. Он не повысил голоса, не дай Бог, не прибег ни к каким упрекам, он лишь отметил факт, а мне надлежало сделать вывод, насколько я был груб:

— Она работает в коровнике.

Невозможно было быть резче. Я понял: музыка важна, но есть вещи не менее важные. И то, что делают грязными руками, ближе к сферам благородства. Музыкант, который предпочел работать в коровнике, — человек более высокой нравственности, чем тот, кто удовлетворяется игрой на фортепьяно. Такого рода высказывания я не раз слышал от брата.

Утром, когда мы вместе ехали в Тель-Авив, Фридман изложил мне свое мировоззрение.

Он с колоссальным уважением говорил о девушке, имя которой я забыл, хотя образ ее врезался мне в память. С подобными суперлативами можно говорить лишь о платонической любви. По словам Фридмана, у нее было выдающееся музыкальное будущее (позволю себе усомниться в этом), но она отказалась от него, чтобы воспитывать юных беспризорников. Ее взяли преподавать им мировую литературу и музыку. Но она работает в коровнике, потому что обнаружила, что не сможет найти подхода к этим детям, если не будет делать и черную работу. Такая работа, объяснил мне Фридман, мешает беглости пальцев, но ущерб этот оправдан, если принять в расчет конечный результат. Музыкант не только воспроизводит нотные строки, он представитель определенного духовного мира. Бетховен стал Бетховеном не потому, что владел

техникой, но потому, что был гуманистом и бунтарем. Ярчайший символ еврейского гуманизма в нашу эпоху — коровник. Музыкант, выгребаящий навоз из коровника, обогащается такими ценностями, которые неведомы музыкантам из оркестра.

Что за святая простота! Я не мог не уважать ее. Под хвостом палестинской коровы можно сегодня обнаружить романтику, которую мы в Европе утратили. Правда, я мог сказать Фридману, что знаю первоклассных музыкантов, у которых нет ни возвышенных взглядов, ни благородных чувств, но игра их все-таки совершенна. И разве он не знает, что его позиция не выдержит испытаний фактами? Вагнер был немалый негодяй и все же гений. Палестрина был нечистый на руку меховщик. Джезуальдо — убийца. Не один музыкант готов строить карьеру, идя по трупам, а когда он берет в руки скрипку, соловьи в раю подхватывают его песнь. Но я подумал, что нет смысла говорить все это, — когда у человека есть потребность верить во что-то, факты не изменяют его мнения.

Я могу понять, что нашел во Фридмане Губерман. Струны его души отзываются на благородные идеи. Когда Фридман изложил ему свое мировоззрение, Губерман, должно быть, решил, что оркестру не повредит иметь в своем составе эдакую редкую птицу; в разнородной смеси беженцев, от которой, как пар от яйца, поднимается дух разочарованности, пусть будет хоть один человек, который во что-то верит.

Да и в квартете, подумал я в эту минуту, не худо иметь в своем составе такого музыканта, для кого эта страна совсем не место нежеланного изгнания, человека, у которого не только ля и ре точно поставлены, но и душевные струны отзываются на ветры времени, настроены на эту страну.

Я рассказал Фридману, что собираюсь создать

квартет. Он ответил:

— Прекрасная идея, Эрец-Исраэль нуждается в этом.

Я улыбнулся про себя. Сионистские лозунги вылетают у него изо рта как нечто само собой разумеющееся. Эрец-Исраэль ни в чем не нуждается, это нужно нам. Другим это, может быть, принесет удовольствие, а может, и нет. Если мы не будем настолько хороши, чтобы выступать в Париже и в Лондоне, то и для Эрец-Исраэль не будет от нас большого проку.

— Подобрать хороший состав несложно, — подбодрил он меня, — в оркестре есть очень хорошие музыканты.

Я сказал, что еще колеблюсь в выборе: достаточно хороших музыкантов вполне хватает, но не всякая четверка хороших музыкантов составляет хороший квартет, тут нужен какой-то скрепляющий клей.

— Какой клей? — спросил он меня с наивным любопытством. В двадцать семь лет и я верил, что человек, достигший возраста тридцати восьми лет, умнее меня.

— Если бы я знал, какой клей, мне бы не пришлось так долго колебаться. — Потом я изложил ему свою "теорию" в несколько экстремистской формулировке:

— Квартет надо строить со второй скрипки.

Он не понял. А может, понял, но не поверил своему счастью.

— Так каково же ваше мнение?

Его волнение заставило меня заключить, что он не смел надеяться.

— Это большая честь для меня, — сказал он. В глазах его сверкнуло детское счастье. И сразу угасло: — Но я недостаточно хорош для этого.

Скромность его брала за душу. Из педагогических соображений я предусмотрительно не стал расточать ему похвалы.

— Оставьте это мне, — сказал я.

Это можно было истолковать и так: я буду руководить вами и вы достигнете нужных высот. Хотя я не имел этого в виду. Он надолго замолчал. Лицо его было замкнуто, но в глазах метался вопрос. Наконец он решился заговорить:

— Боюсь, я разочарую вас.

— Квартет — это не католический брак.

Я подумал, что он боится испытания. Люди чувствительные, страшющиеся разочарований, предпочитают не испытывать себя.

Но он удивил меня:

— Я еще не уверен, хочу ли посвятить этому жизнь.

Я решил, что он меня неправильно понял и полагает, будто я собираюсь создать квартет профессионалов, который вышел бы из оркестра и занимался исключительно камерной музыкой. Поэтому я ответил:

— Дай Бог, чтобы мы могли посвятить этому жизнь. Всем нам придется по-прежнему играть в оркестре. Речь идет о том, чтобы заниматься этим в свободное время, сколько сможем.

К моему удивлению, он имел в виду музыку вообще. У него еще не созрело решение, быть ли ему музыкантом, объяснил он.

— А кем же вы хотите быть?

Долгое его молчание было просто оскорбительно. Он словно сомневался, способен ли я понять. Наконец он с некоторым замешательством (отношу это замешательство в его пользу) и поспешно, точно отделяваясь от мучительной мысли, произнес:

— Может, вернусь в молодежное поселение, им

нужен учитель еврейской истории, да и бывший управляющий цитрусовыми плантациями ушел от них.

— Когда вы решите?

Это был каверзный вопрос, и он это почувствовал. Я выражал сомнение в серьезности его намерений. Как будто он только рисуется благородными помыслами.

— Теперь вы еще больше затруднили мне выбор.

— Что ж, если вы решите в ближайший месяц, скажите мне, еще не будет поздно. Я придержу для вас место.

Он почувствовал, что его реакция задела меня и попытался меня ублажить:

— А кто двое других?

— Я еще не решил. Теперь, когда нас двое, мне есть с кем посоветоваться.

— Это будет уж слишком большая честь для меня, — улыбнулся он.

Я видел, что не ошибся в нем. Он грубоват, но соображает быстро. Он сразу понял, что я не собираюсь советоваться с ним, и не рассердился на меня. Мой шутливый тон не обидел его. Он, видно, нашел его справедливым. Я отнесся к нему так, как он заслуживал. Я сделал ему восхитительное предложение, а он вместо того, чтобы поблагодарить меня, позволил себе сомневаться вслух.

Улыбка его была сердечной, но немного сдержанной, улыбка человека, готового посмеяться над такими вещами, к которым он относится вполне серьезно. Как и надлежит второй скрипке, ведь для этой роли нужен человек с юмором. Юмор Фридмана был мне по вкусу. Правда, впоследствии я убедился, что следует его остерегаться: юмор не распространяется у него на определенные вопросы сионизма и на Иоганна Себастьяна Баха. К тому и

другому он относится с благоговением. Но у меня нет сомнения, что мы найдем с ним общий язык. Я открою перед ним некоторые страницы "Музыкальной заутрени" и докажу, что и Бах был не без юмора.

Еще до того, как мы приехали в Тель-Авив, я был уверен в одном: вторая скрипка у меня есть! Фридман не обиделся на то, что я говорю с ним так, как будто он и не упоминал, что еще колеблется. Напротив, лицо его светилось гордостью. Чем больше обдумывал он мое предложение, тем сильнее крепла в нем радость.словно ребенок, получивший в подарок игрушку, которую можно разбирать и собирать снова. До тех пор, пока мы прибыли в Тель-Авив, он уже позабыл, что хотел работать в коровнике. Он говорил о будущем квартете так, как будто замысел принадлежал ему.

Потом глаз мой остановился на альтистке. Выражение это верно во всех отношениях. Не только я один был очарован с первого взгляда. Когда Эва Штаубенфельд впервые появилась на репетиции оркестра, мы все не могли оторвать от нее глаз. Подобная красота может вызвать подозрения насчет того, только ли один музыкальный талант привел его обладательницу в ряды оркестра. Давно не видел я такой стройной и сильной фигуры. Мало того, точеное арийское лицо, излучающее спокойствие, похожее на лица женщин с хладным взором, глядящие с нацистских пропагандистских плакатов.

Она сидит у первого пюпитра альтов. Место это тоже возбуждает мое любопытство. Неужто она так превосходно играет, что ее выдвинули в обход известных альтистов из лучших оркестров Европы, или здесь имела место некая малосимпатичная из-

бирательность, которая может нанести вред отношениям в оркестре? Увы, мне не удалось услышать ни одного звука, способного излечить меня от сомнений. Она из тех, кто опускает смычок в тот момент, когда дирижер просит остановиться, она также не участвует в сольных выступлениях за кулисами, в отличие от многих других оркестрантов, которые, стоя в коридоре, демонстрируют свое искусство. В перерыве она сразу кладет инструмент в футляр и идет курить. Никто не осмеливается подойти к ней. Выражение ее лица ясно говорит о том, что у нее нет желания болтать. Только раз застал я ее, когда она "разминала пальцы" за сценой. Утро было очень холодное, и пальцы застыли. Я подошел поближе и прислушался. Правда, она играла гаммы без вибрато, просто для упражнения. Я стоял в темной нише и глядел на нее. Небрежная утренняя одежда еще прибавляла ей какой-то неженской агрессивности. Брюки подчеркивали классические формы. Длинные, не слишком мускулистые, не слишком мягкие ноги. Осиная талия и плоский, как у юноши, живот. От размашистых движений смычка то напрягалась, то расслаблялась на диво круглая грудь. Когда я подошел к печке согреть пальцы, она прекратила игру и встала рядом.

— Это мысль, — произнесла она и протянула длинные пальцы над печкой.

Это была самая длинная фраза, которую я от нее слышал. Да и единственная. Я некоторое время стоял возле нее, глядя на ее пальцы, в которых, казалось, была лишняя фаланга. Заговорить я так и не решился.

Не помню, чтобы женщина когда-нибудь настолько смущала меня.

Я сказал себе, что есть нечто царственное и приятное в ее надменности. Да и чем она лучше

нас? Но мне так и не удалось себя убедить. Она не замечала меня, вовсе не пытаясь притворяться. Потребность в уединении у нее глубока и естественна. У нее нет никакого стремления впечатлять нас какими-то затаенными страданиями, дабы привлечь к себе внимание. Нет и никакого желания оскорблять того, кто попытается приблизиться. Она просто замкнута в какой-то глубокой скуке, от которой ее спасает только музыка. Будем мы ее любить или нет — ей безразлично. Если кому охота влюбляться в царевну-недотрогу — на здоровье. А тот, кто предпочитает синицу в руках, пусть к ней рук не протягивает.

Когда я начал подумывать о том, чтобы привлечь Эву в квартет, у меня уже были некоторые обнадеживающие данные. Она казалась мне подходящей, исходя из трех главных качеств: дисциплина, способность сосредоточиться и серьезность. Но я все же колебался: хороший альтист в квартете должен быть человеком скромным и решительным. Редкое сочетание. А эта женщина казалась мне чересчур спесивой, и я опасался, что мне будет трудно указать ей на ошибку, даже если замечание будет справедливым. А может, и звук у нее холодноватый, невыразительный, как и ее лицо? У нее будет достаточно оснований полагать, что я избрал ее из-за соображений недостойных: захотелось покрутиться вокруг красивой женщины, вот и нашел предлог. А ведь ее ослепительная красота, наоборот, останавливала меня. Я немного опасался, что здесь можно запутаться, а осложнения на сердечной почве не прибавляют здоровья камерному ансамблю. Фридман наверняка испугается ее лица и возненавидит ее, ведь она будет для него символизировать узость музыкантов, не видящих ничего, кроме музыки. У нее не найдешь уважения ни к

тем, кто работает в коровнике, ни к священным коровам сионистского мировоззрения. Кроме того я опасался, что если я остановлюсь на Эве Штаубенфельд, мне будет трудно найти виолончелиста. Я не хотел классифицировать виолончелистов по какому-нибудь постороннему принципу. Если мне придется отказываться от каждого, у кого глаза бегают при виде Эвы, то не останется ничего иного, как выбрать единственную в оркестре женщину-виолончелистку. А я уже знаю, что ее брать не хочу. Тот же, кто кажется мне наиболее подходящим, — Бернارد Литовский — полная противоположность Эве. Он со всяким готов заговорить, и любое проявление надменности его порядком раздражает.

Я решил, что не стану предлагать Эве участвовать в квартете, пока не услышу ее, но такая возможность все не представлялась. Попытка выделить ее звучание в оркестре тоже не увенчалась успехом. Обычно мне удается, неотрывно глядя на музыканта, услышать его в общей гармонии. Эву я услышать не мог. Но я счел это ее достоинством. Ее игра совершенно растворяется в анонимном звучании группы альтов, издающих богатый и теплый звук, она словно таит собственный звук в секрете. В конце концов я пришел к выводу, что и этот факт свидетельствует о ее безупречном профессионализме. Великолепный оркестрант знает, что слишком взволнованная игра, слишком взволнованный звук нарушают равновесие совсем так же, как фальшивая нота или запоздалое вступление.

Но судьбе было угодно избавить меня от первого шага. Несколько дней назад она сама обратилась ко мне с вопросом, не соглашусь ли я играть с нею на радио Концертную симфонию Моцарта.

Я был столь удивлен, что не сразу ответил.

— Я знаю, что это наглость с моей стороны, —

сказала она, не красуясь своей скромностью. — Вы не знаете меня и еще ни разу не слышали. Но, быть может, вы согласитесь меня прослушать. А я не обижусь, если вы откажетесь.

Ее холодный взгляд иронически воспринял мое "Упаси Бог", произнесенное с чрезмерным жаром. Она словно говорила: сперва послушайте, потом судите.

Потом она рассказала, что выступление состоится по инициативе дирижера оркестра радиовещания, знакомого с нею еще с тех пор, когда она училась в консерватории. Он предложил ей исполнить произведение для альт-соло, но у них в оркестре нет нот и нет всех инструментов для "Гарольда в Италии". Она сама предложила Концертную симфонию и, когда ее спросили, с кем она будет играть, ответила, что предложит мне. Дирижер сказал, что если я соглашусь, он будет очень доволен. Он слышал меня в Базеле.

— А вам тоже приходилось меня слышать?

— К сожалению, нет.

Тогда у меня не было возможности заговорить о квартете. Она сразу перешла к техническим деталям. Гонорар обычный, ведь радио — правительственное учреждение. Надо условиться о репетициях — нужно место, где мы сможем играть в сопровождении фортепьяно. На какой-то момент я засомневался, стоит ли мне выступать за столь жалкий гонорар, но решил согласиться. По двум причинам: уже несколько месяцев я в Палестине, а у меня еще не было ни одного сольного выступления. Так можно снова впасть в безвестность. Играть вдвоем, правда, не совсем соло, но зато выступление по радио — это нечто вроде визитной карточки (что же до гонорара, то лучше мне от него отказаться, не позорясь такой крохотной суммой. Но такие во-

просы я не хотел поднимать в первом разговоре с незнакомой женщиной). Вторая причина и так ясна: я не хотел упустить возможности поработать с Эвой Штаубенфельд. Это и будет экзамен, после которого я смогу судить, стоит ли приглашать ее в квартал.

— У вас есть пианино? — спросил я.

— Нет. А у вас?

— И у меня тоже нет.

Потом, взвесив, стоит ли просить Гелу Бекер о разрешении играть в ее пансионе, я решил, что не стоит. Внутреннее чувство подсказывало мне, что лучше держать двух этих женщин подальше друг от друга.

Но оказалось, что Эва уже обо всем позаботилась. У нее есть подруга-пианистка, работающая в детском саду. Мы можем проводить репетиции там после того, как дети расходятся по домам.

Деловитость Эвы тоже свидетельствовала о серьезном профессиональном подходе. Пианино настроено неделю назад. Соседи жаловаться не будут, поскольку в доме, кроме детского сада, два магазина и адвокатская контора. Автобусная остановка возле самого садика. Она принесет ноты и пюпитры. Пианистка позаботится о кофе. И чтоб я не стеснялся отказаться, если обнаружу, что она недостойна играть со мной.

Я не отказался.

Не могу не похвалить ее звук, теплый и мягкий. Игра ее для меня как бальзам на душу. Поверхностным музыкантам Моцарт представляется легкомысленным и кокетливым. Моцарт Эвы Штаубенфельд — человек серьезный, но не тяжеловесный. Согласно характеру Концертной симфонии, каждый из нас играет подчас как бы сам по себе, и тем не

менее завязывается диалог. Оба участника должны договориться между собой, когда один спрашивает, а другой отвечает. С Эвой Штаубенфельд нет никаких проблем интерпретации (правда, высокие ноты ее альты немного крикливы, но это, кажется, техническая сложность, которую можно устранить).

Я стараюсь остерегаться сентиментальных выражений. Родная душа — одно из них. Но более полного согласия по вопросам интерпретации — где поставить ударение, где просится глубокий вдох, прежде чем пуститься в новое приключение, — я никогда не знал.

Я только никак не могу решить, стоит ли говорить ей это. Боюсь, она мне не поверит. Подумает, что это пустые комплименты. Нам еще потребуется какое-то время поиграть вместе, прежде чем она удостоит меня своим доверием и будет воспринимать мою оценку просто. Правда, тогда, кажется, мне и не надо будет ничего говорить. Все это будет понятно само собой. Пока могу сказать лишь одно: мое молчание воспринимается одобрительно и уважительно. Если я сумею промолчать еще какой-то срок, тогда, может быть, мне будет позволено что-то сказать. В жизни не встречал я человека, относящегося к словам с таким недоверием, будто все изреченное требует подтверждения из некоего иного источника. Если бы все человеческие отношения были как любовь, то таким крайним требованиям еще было бы место. Влюбленные требуют друг от друга от чего-то отказаться в залог серьезности. Но мы всего лишь играем вместе сочинение для скрипки и альты. Быть может, ошибаюсь. Нельзя играть вместе без той душевной близости, которая требует полной откровенности, отказа от пустых разговоров и пошлых шуток.

Эстетична и сама форма ее игры — она стоит

очень прямо, никаких жестов, выдающих волнение. Все выражается в выверенном звуке, в точном движении смычка. Светлые волосы, локонами сбегające на шею, не участвуют в игре. И глаза, очень светлые голубые глаза, ни на что не намекают. Если бы не пюпитр с нотами перед нею, я сказал бы: она глядит внутрь себя и рассказывает о том, что видит. Внутри, должно быть, тепло и хорошо, в очаге горит огонь, просветленная тишина. Только снаружи мороз и снег. Хорошо будет тому, кому удастся войти туда. С каждым днем мне нужно все больше усилий, чтобы сохранять молчание, делающее нас друзьями. Я предупреждаю самого себя: если ты хочешь взять ее в квартет, тебе надо отказаться от тщетных надежд. Тебе нельзя входить туда иначе, как со скрипкой в руках. Всякое иное проникновение в личную сферу положит квартету конец.

Меня немного пугает отсутствие юмора. И альтисту необходимо немного юмора, чтобы играть квартеты Гайдна, где у него подчас скучная роль ударных. Но уже после двух репетиций я увидел, что Эва не лишена иронии. Даже сарказма. Эта ее подруга, — впрочем, я не назвал бы дружбой столь простые отношения, сводящиеся к формуле "ты мне — я тебе", — весьма посредственная пианистка. Я воздерживаюсь от замечаний по поводу ее игры, которая мне не по нраву. Не хочу огорчать ее. Она помогает нам бесплатно. Потому я доброжелательно воспринял и ее участие в обсуждении интерпретации.

— На концерте мы сделаем так, как хочешь ты, — сказала ей Эва.

Тонкая ироническая улыбка сопровождала эту фразу, которая настолько задела пианистку, что та замолчала и не проронила ни слова до окончания

репетиции. Может быть, именно этого и хотела Эва. Такая реакция казалась мне слишком резкой, почти жестокой.

Я усмотрел здесь определенную опасность для квартета. Фридман, который любит пофилософствовать, может увлечься многословием. (Он пять минут объяснял мне, почему сыграл три ноты именно так, а не иначе...) Если она выстрелит в него ироническим замечанием вроде этого, он будет задет и на репетиции создастся напряженность (но не стоит волноваться раньше времени, быть может, Эва прибегает к иронии только против тех, кто не знает своего места).

Грета права. Я из разряда приспособляющихся животных. Возле Эвы я приучил себя молчать, точно я отроду был неразговорчивым. Мне даже легко в этом молчании, которое едет с нами в автобусе, словно наш собственный микроклимат (Эва тоже живет на севере города).

Пассажиры автобуса бросают на нас взгляды. Конечно, из-за Эвы. А может, еще из-за инструментов, которые помогают им вспомнить, откуда мы им знакомы. Но иногда мне кажется, что они глядят на нас как на мужа с женой, дующихся друг на друга. Всю дорогу промолчим, а приехав домой, поссоримся.

Поездка в Иерусалим сопряжена с известной долей риска. Но мне неприятно было отказываться от принятого решения — я не настолько смел, чтобы показать женщине, которая не боится, до чего я дрожу за свою шкуру.

Правда, все обошлось без особых потрясений. Нас везли в бронированном автомобиле британской армии. Смотреть на природу сквозь амбразуру для стрельбы — одно это уже впечатляет. Вполне я осознал, как сильно это меня поразило, только по-

сле того, как стал восстанавливать в памяти, чтобы рассказать Эгону Левенталю и описать в письме Грете.

Грете я описал свою поездку как поступок исключительно отважный. Видно, все еще не избавился от потребности демонстрировать ей свою смелость. Истинная же потребность состоит в том, чтобы доказать, что бегство из Германии было не актом трусости, а человеческим протестом.

Иерусалим, про который я писал Грете, несколько отличался от того, про который я рассказывал Эгону. Я немного преувеличил, описывая, как при виде Святого города мое сердце переполнили религиозные чувства. Положа руку на сердце, я не согласился бы жить в Иерусалиме, разве что там появился бы настоящий симфонический оркестр. Оркестр радиовещания платит государственную зарплату дилетантам.

Эгону я рассказал правду. Я боялся всю дорогу, хоть для страха и не было никакой реальной причины. Нынешнее поколение измельчало по сравнению с предшествующим. Мой отец, офицер кайзеровской армии, был удостоен "железного креста" за храбрость. А я даже в движущейся стальной коробке не чувствовал себя в безопасности. Какую-то уверенность придавало мне только спокойствие Эвы. Хорошо, когда есть у тебя близкий друг, которому можно, не стыдясь, рассказать всю правду.

Эгон заинтересовался Иерусалимом. Я немного мог рассказать ему, ведь я видел довольно мало. Каждый может почувствовать, что город этот перегружен воспоминаниями.

— Это другая страна, — сказал я Эгону, — другой мир.

— Тель-Авив построен на песке, а Иерусалим на камне, — заметил он.

Аллегория, а не итог впечатлений. Он ни разу не бывал в Иерусалиме. Все еще набирается сил, чтобы отправиться туда, сказал он мне. Боится, что не полюбит. Тель-Авив лишь черновик города. Его можно любить или ненавидеть. Все равно. Иерусалим же не позволит ему наслаждаться особыми правами, что приберегает он для гостей. Ему придется внутренне определиться.

Англичанин, ехавший с нами, офицер в гражданском костюме, взял отпуск, чтобы сопровождать нас. Приятный тип. Присяжный любитель музыки и великий ее знаток. Может высвистывать целые концерты для скрипки с удивительной точностью. Всю дорогу он разговаривал со мной и смотрел на Эву. Она производит огромное впечатление на того, кто видит ее впервые и еще не знает, что стоит поостеречься. Тому, кто в нее влюбится, обещано разочарование. Эву не восхитила поразительная память попутчика. Музыкальная память — только побочный продукт его профессии, заставляющей фиксировать в сознании колоссальное количество подробностей, сказала она. Эва сразу угадала, что он детектив. Так или иначе, мне приятно было познакомиться с таким человеком. Если у английских властей такое же лицо, как у него, то положение не так уж плохо.

Выступление прошло отлично, несмотря на оркестр. В зале сидел секретарь мандатной администрации и несколько высокопоставленных лиц, евреев и арабов. Эва играла как человек, на которого присутствие публики не наводит никакого страха. Публика для нее не испытание. Все, что было отшлифовано на репетициях, она воспроизводила еще более четко и с верным чувством. Даже досадная оплошность виолончельной группы, приведшая в замешательство дирижера, не смутила ее.

Она пропустила такт, который проскочил оркестр, и на лице ее не отразилось никаких признаков напряжения. Более у меня не было сомнений. Даже в Берлине я выбрал бы ее. Она лучше Беренфельда, считавшегося превосходным альтистом.

Не уверен, что из-за меня пригласили нас после выступления отобедать с секретарем администрации. Он тоже человек образованный и любезный. У него есть та единственная пластинка, которую мы записали в Мюнхене. Он извинился от имени верховного комиссара за то, что тот не присутствовал на концерте. Для немецкого еврея — волнующее переживание, когда представитель властей извиняется перед ним.

Это событие придало особый вес тому абзацу в моем письме Грете, где я пытался убедить ее, что приезд сюда имеет и определенные преимущества.

Ночью, в гостинице, на пороге ее комнаты я спросил Эву, согласится ли она играть в струнном квартете.

— Что за вопрос? — ответила она.

Даже не спросила, что за квартет, постоянный ли он и кто остальные участники. Отворила дверь, сказала "Спокойной ночи", вошла и с непроницаемым лицом закрыла дверь.

Примерно через неделю в Тель-Авиве мы обсуждали подробности. Я предложил Бернарда Литовского, и она согласилась кивком головы. Она слышала его в зале гимназии "Герцлия"¹⁵. У него проникновенный, мощный звук и "длинный смычок". Стоит перенять это красочное выражение, обозначающее долгое дыхание и непрерывность мелодической линии.

Эва говорит сжато, но на всех ее словах есть личный отпечаток. У нее свой способ обсуждать технические детали. Она всегда ищет особую фор-

мулировку. ("Он играет отдельными кубиками", — сказала она про виолончелиста, который был упомянут как один из вероятных кандидатов. Я послушал его. И действительно, стремясь приукрасить звук, он выделяет каждый такт и теряет мелодическую линию целого...)

Фридманом она не очень довольна, но поскольку я уже говорил с ним, не потребовала права вето.

— Первая скрипка — лидер, вам и решать, — сказала она.

Я изложил ей свою теорию относительно второй скрипки. Она согласилась, но удивилась, что я выбрал именно Фридмана. Предложила Витали. Я не нашел в нем никаких выдающихся качеств, кроме молчаливости.

Мне пришло в голову, что противоречия между Эвой и Фридманом могут принести пользу. В качестве посредника мне легче будет руководить квартетом, где, если воспользоваться выражением Эвы, не только один "центр тяжести".

Я еще некоторое время колебался в выборе виолончелиста. Меня беспокоят не музыкальные вопросы. Я недостаточно знаю Литовского. Глаза у него так и бегают по сторонам, а я еще не знаю, что это — природная любознательность или воспаленный интерес к женщинам.

Я укрепился в своем выборе: Бернард Литовский будет работать с нами. Посоветовался с Фридманом из вежливости. Фридман не выразил восторга. Литовский — прекрасный виолончелист, сказал он, но ему не хватает устойчивости. Я подумал, что он говорит об устойчивости ритма. Но он разъяснил: в Литовском есть какая-то человеческая неустойчивость. На него легко повлиять. Сегодня у него одно мировоззрение, а завтра другое.

— Успокойтесь, — сказал я Фридману, — когда он начнет играть в квартете, у него не будет времени менять мировоззрение. Он будет так занят, что ему не хватит времени и на одно.

— Это человек, с которым будет приятно играть, но с ним никогда не перейти на ты, — подытожил Фридман наше короткое обсуждение.

Оно и лучше. Так легче сохранить корректные профессиональные отношения. Поскольку мы не будем обращаться на ты к Эве, не возникнет ощущения, что она одна, а нас трое.

— У нас будет квартет, где двое красавцев и двое уродов, — сказал Фридман.

У него несколько детские понятия о красоте. У Литовского мужественное, привлекательное уродство. Он большой, костистый, сильный, с выразительной кудрявой головой. Его тяжелое, заостренное лицо кажется лицом человека, у которого была интересная, полная приключений жизнь. Впрочем, не знаю, верно ли это, но таково мое впечатление. Мне известны лишь два факта: первый, что он участвовал в конкурсе в Будапеште и занял первое место; второй, что ему удалось невероятным образом бежать в Чехию вместе с женой и виолончелью.

Такое лицо для музыканта — божий дар. Даже в тот момент, когда он настраивает струны, у него выражение человека, прислушивающегося к голосам из бездны. Литовский принял мое предложение с лукавой миной профессионального политика, не забывающего набить себе цену. Он очень обрадовался, но сдержался — хороший вкус требует не выказывать особого восторга, — словно так мы научимся больше уважать его. Я предоставил ему играть свою игру, а Эве и Фридману сказал:

— Есть квартет!

Вступление Литовского в ансамбль решило также проблему места репетиций. Он живет в трехкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного дома на улице Элизера Бен-Иехуды¹⁶. Его жена Марта, учительница физкультуры, — горячая любительница музыки. Она с удовольствием открыла перед нами двери своего дома (детей у них нет) и ровно в четыре часа подает кофе с печеньем. Нам всегда рады и никогда не возникает ощущения, что репетиция квартета нарушает какие-то планы хозяйки дома. Все мы уважаем Марту, даже ее муж, — если позволить себе чуточку цинизма. Кажется, она единственная женщина, с которой Эва Штаубенфельд нашла общий язык. На Фридмана Марта смотрит, как на сироту, о котором надо заботиться, следить за тем, чтоб он поел, оделся как следует, отдохнул. Я с почтением отношусь к таким женщинам — утратив красоту в очень молодом возрасте, они уже лет в тридцать восемь-сорок излучают некую примиренность с судьбой. В Марте не чувствуется горечи, потребности доказать, что в ней есть нечто ценное взамен недостающей красоты. Лицо ее светится добротой и мудростью человека, на чью долю выпали страдания, в которых невозможно обвинить ближнего. Не уверен, смог бы я жить с такой женщиной, но наверняка был бы рад быть ее сыном. Всякий раз, как я вижу ее, меня, не говоря уж о глубокой симпатии, которую я всегда испытываю к ней, переполняет жалость, — и это несмотря на то, что у меня нет никаких доказательств того, что муж ей изменяет. Мне известно лишь одно: после каждого концерта его ждут на улице две-три женщины, которым есть что сказать по поводу короткого соло, им исполненного.

Первые репетиции были успешны со всех точек зрения. Фридман — виртуоз по части слитности с

ансамблем. Всякий раз, как он играет после кого-то из нас, он — словно отражение. Эва, опытная альтистка, взяла на себя ответственность за равновесие. Она успокаивающе действует на Литовского, мощный звук которого мог бы перекрыть нас. Не было споров и по вопросу о распределении доходов. Фридман намекнул, что готов удовольствоваться меньшей, чем у других, долей. Но я, зная, что он собирает деньги, чтобы организовать переезд отца в Эрец-Исраэль, упрекнул его и сказал, чтоб не морочил мне голову. Он чуть не расплакался от волнения.

Иногда бывают трения. Но в целом все идет так, как я и ожидал. В краткий срок мы подготовимся к первому концерту. Будем играть Квартет с квинтами Гайдна, opus 18, №3 Бетховена и Трио Брамса — специально для Эвы Штаубенфельд, из-за особой партии альты в третьей части. Первый концерт состоится через две недели в зале имени Яши Хейфеца.

Жизнь моя возвращается в накатанную колею. Репетиции оркестра по утрам, репетиции квартета после обеда, три раза в неделю, и четверо-пятеро учеников, один из которых действительно талантлив. По вечерам концерты, за исключением пятничного вечера. Иногда выпадает свободный вечер и в середине недели, тогда хозяйка дает мне уроки иврита. Разумеется, за плату. Квартет наполняет жизнь содержанием. Интересно, что мы четверо были из тех немногих оркестрантов, кто возражал против того, чтобы пригрозить дирекции забастовкой, если она привезет в Палестину новых музыкантов прежде, чем нам повысят зарплату (для Фридмана это был принципиальный вопрос, и мы приняли его точку зрения: евреи не имеют права мешать спасению своих соплеменников). Раз в две

недели я обедаю у Гелы Бекер и раз в неделю, в субботу вечером, меня приглашают Эгон Левенталь и его подруга, которую я пока не раскусил. Я совсем не чувствую пустоты, обычно мучающей холостяка в конце недели. Раз в неделю пишу жене и дочери. Раз в месяц пишу брату по адресу, который он мне оставил, в Гаагу, хоть и уверен, что его там нет. (Я еще ни разу не получил от него ответа, но уверен, что и в Голландии он в подполье. Наверняка дал адрес какой-нибудь организации, относящейся к компартии. Он, как видно, кочует из страны в страну и пытается организовать какое-либо выступление против нацистов. Это, конечно, приносит ему удовлетворение. Что же до пользы — весьма сомневаюсь.)

Гела Бекер утверждает, что я пренебрегаю старыми друзьями. Приобретя новых друзей, я стал недоступен для тех, кто действительно меня любит. Она шутит, но я знаю, что за этим скрывается нечто серьезное. Моя дружба с Фридманом и Литовским не мешает ей. На первую репетицию квартета она принесла большой букет цветов с визитной карточкой, где было написано "Великий день в музыкальной жизни Эрец-Исраэль". То, что вызывает у нее недостойное любопытство, — это мои отношения с Эвой Штаубенфельд.

Ее ревность к Эве смешна и раздражает. Во-первых, потому, что у нее нет права требовать от меня верности, во-вторых, потому, что нет никакой причины для этой ревности. Если я ей об этом скажу, она решит, что я извиняюсь, а извинение будет истолковано как признание ее прав. Я молчу и осторожно обхожу ловушки, которые она расставляет на моем пути, — намеки тонкие и толстые попеременно. Все они вызывают во мне только сожаление о разумной женщине, которая глупо себя

ведет. Она долго смотрит на меня грустными глазами, дольше, чем я могу выдержать, точно я все еще должен дать ответ на незаданный вопрос.

Мне удастся запутаться там, где другие легко устраиваются. Быть может, потому что я не способен на грубость даже в той малейшей степени, какая порой жизненно необходима, чтобы поставить людей на место. Мне не грозит опасность запутаться в отношениях с Гелой Бекер. То, что может между нами произойти, не пугает меня так, как то, что происходит в доме, где я живу. Происходит же со мной нечто странное, и я не знаю, как положить этому конец.

Даже с Эгоном я не смогу говорить об этом.

На первом этапе можно обучать игре на скрипке почти без слов. Все можно показать. На более позднем этапе нельзя обойтись без объяснений. Незнание иврита иногда мешает мне. Необходимы слова, чтобы привить ученику более глубокое понимание музыки. Технических советов недостаточно. Правда, сегодня я уже могу сказать несколько предложений на иврите, но большую часть времени я вынужден обходиться руками. Здесь-то и корень зла.

Однажды я стоял позади своей ученицы, показывая, как правильно держать скрипку. Произошло нечто странное. Руки у нее были упрямы, точно застыли, и левая, и правая. Они прижимались к телу и совсем не поддавались мне. Сперва я подумал, что она не понимает меня. Но через минуту стало ясно, что один из нас ведет себя по-детски, и это — я. Ее левая рука прижала к упругой груди мои пальцы, державшие ее за локоть. Мы стояли очень близко друг к другу, и бедра мои коснулись ~~ее~~ ~~зада~~. Соприкосновение вызвало мгновенную реакцию, но девушка не испугалась. Я покраснел, но

цвет ее персиковой щечки не изменился, это был румянец какой-то необычной радости. На губах ее витала счастливая улыбка. Я был оглушен. Она же ничуть не была смущена.

Я не хочу сказать, что пятнадцатилетняя девушка пыталась соблазнить меня. Такие вещи происходят сами собою. Но после того, как они произошли, возникает опасность, что они станут непристойной привычкой. Справившись со смущением, я сделал вид, что ничего не произошло. Но на следующем уроке она снова взяла скрипку неверно, и я увидел в ее глазах искру лукавства, словно она приглашала меня снова показать ей то самое, чему я учил ее на прошлой неделе.

Я был в большой растерянности. Снова больше всего испугало меня отсутствие смущения на лице девушки. Она бросила на меня чуть насмешливый взгляд, удивительно зрелый и даже слегка надменный. Так глядят люди, уверенные в себе, на пугливых людей, подгоняющих свои поступки под мнение общества. Я уже видел однажды такой взгляд у девушки примерно такого же возраста.

Дело было во Франкфурте, мы ехали в трамвае. Была сильная толкучка, и нас прижало друг к другу. И тогда ее тело отозвалось так же. Я попытался отстраниться, но меня толкнули к ней, я не мог пошевелинуться. Я боялся, как бы она не подумала, что я это делаю нарочно. Пока я не увидел — после того, как отважился взглянуть на нее, — что девушка вовсе не сердится. Наоборот, на лице ее застыла таинственная улыбка, взрослая, но без чувства вины. А в глазу, который был мне виден, мерцала искорка гордости. Она не видела необходимости скрывать удовольствия от дивной силы, которую открыла в своем прикосновении. Счастливая эта улыбка только усилила мое волне-

ние, и некоторое время мы барахтались вместе, пока я уже больше не мог этого выносить. Я был поражен огромностью удовольствия, которое дала мне эта украденная любовь. А чувство вины одолело меня только после того, как я вернулся домой.

Та девушка была незнакомкой, и вероятность увидеть ее снова была очень мала. Она заставила меня испытать некую тягу к созреванию еще неспелого — и исчезла из моей жизни. Но нынешняя моя ученица — дочь людей, которые мне доверяют. Я символизирую для них все благородное, нравственное и духовное в европейской культуре. Я вижу с ней ежедневно, изо дня в день. Я не смогу без причины прервать уроки музыки.

Ее зовут Рут. И через пять месяцев ей будет шестнадцать лет. Жалкое утешение.

Я верю, что справлюсь со своей страстью. Я взрослый человек и не допущу, чтобы прихоть плоти испортила мне жизнь. Я должен взять себя в руки. Девушка эта не мне суждена. Не для меня запретный этот плод. Но с каждой неделей мне становится все тяжелее.

У меня уже нет больше сомнений в том, что поступки ее не случайны. Она знает, что делает, и делает это не стыдясь. Почти нагло. А в глазах ее всегда вспыхивает то же выражение взволнованного ожидания, в котором нет ни страха, ни чувства вины. Она не соблазняет меня в вульгарном смысле этого слова. Безмолвное приглашение. Перед тобою раскрывают дверь, если не боишься — можешь войти.

И все же я не могу сказать, что девушка эта развратна. Есть что-то наивное и трогательное в ее дрожащей распущенности. Если можно тут строить догадки, то ее чувство — вряд ли сексуальное вле-

чение к образу отца, ведь отец-то у нее есть. Это скорее детская, еще довольно сдержанная влюбленность в постороннего, в чужого. Я воплощаю для нее все то удивительное, что лежит далеко от ее узкого, замкнутого мирка, ограниченного семьей и школой по соседству. Я — часть волшебной, богатой приключениями жизни, вершащейся где-то за горизонтом, а из ее окна можно порой разглядеть только дым из трубы пассажирского парохода, маячащего в отдалении, как щемящий соблазн. Долгие часы может она лежать на животе, покачивая ногами в такт событиям, проносящимся перед нею в переводных романах, которые она поглощает с неимоверным пылом. Романы, в которых люди, похожие на меня, кочуют из тома в том, пожиная аплодисменты и позволяя принцессам себя любить. И музыка для нее — билет в дальние страны. Мне кажется, она не позволила бы себе так бесстыдно льнуть к человеку, с которым могла бы разговаривать. Можно надеяться, что стыд снова вернется и отвоюет нейтральную полосу между нею и мною, когда я продвинусь в изучении этого трудного языка и начну говорить с ней на иврите. Странная мысль, но я держусь за нее, как за якорь спасения. Время играет мне на руку. Как только исчезнет отчужденность, простой нравственный долг напомнит о себе.

Настоящее зло может вырасти как раз из укрепляющихся отношений с Эвой Штаубенфельд. Зло, понятно, для квартета, а не для меня. Даже не для моей семьи. Здесь нет опасности влюбиться до потери чувств. Редко влюбляемся мы в женщин, слишком похожих на жену. Эва и Грета созданы из одного и того же твердого материала, типичного для женщин честолюбивых и упорных. Обе они не из тех, кто обратятся к мужчине за защитой.

А если переспят с женщиной, не станут требовать от него, чтобы он "исполнил свои обязательства". Наоборот, они лишь рады, если он оставит их в покое и не станет думать, что приобрел права на их тело.

Все это, разумеется, предположения. Я не знаю, были ли другие мужчины в жизни Греты. Некоторое время я подозревал, что опыт, которым она обладала, когда мы встретились, не приобретается из книг. Но я никогда не требовал от нее отчета в том, какую жизнь она вела до меня. Что же до Эвы, то тут я знаю еще меньше. Я просто провожу аналогию между Гретой и Эвой и, кажется, не ошибаюсь. А даже если и ошибаюсь, это не так уж важно. Я твердо решил воздерживаться от легкомысленного поведения, которое само собой ведет к глупому флирту.

Но я не застрахован от другого вида сердечной зависимости, которая может перерасти в некую почти семейную любовь. Это поначалу ускользающее от внимания чувство углубляется с привычкой. Рутинa не мешает ему, а, наоборот, укрепляет. Не знаю, не опаснее ли оно, чем любовь. Время не разъедает его, а строит, постепенно наращивая, слой за слоем. Так чувствую я порой, когда появляется общая тема у первой скрипки и альтa. Мне тогда становится странно, что я вообще мог играть в квартете, где не было Эвы Штаубенфельд. А иногда мне кажется, что я никогда не осуществлял того, что заложено во мне, в столь полной степени, как когда играл вместе с Эвой Концертную симфонию ("Палестайн пост" написала: "Словно один человек. Потрясающий диалог двух первоклассных музыкантов, знающих, что они хотят сказать").

Я могу лишь дать себе слово, что, насколько это от меня зависит, я не сделаю ни единого шага, кото-

рый можно истолковать как попытку выйти за пределы профессиональных отношений. Не знаю, как поведу я себя, если Эва сделает провокационный шаг. Боюсь, я буду беспомощен, как всегда. Сперва мне будет любопытно, и я побоюсь обидеть ее, а потом увлекусь. Ты колеблешь пальцем струну, и тебя захватывает чувство, пробужденное тобою самим.

Это не пустые опасения. Я замечаю тревожные признаки с тех пор, как Эгон Левенталь стал приходить на репетиции квартета. Последнее время он приходит часто. Всякий раз, как ему необходимо "убежать от этой страны".

Он открыл нас случайно. Мы встретились на улице, и он пошел проводить меня. Погруженные в беседу, мы не заметили, как подошли к дому. Марта, зная, кто он такой, пригласила его войти. Фридман, Литовский и даже Эва встретили его приветливо. Увидев молодую красивую женщину он, как всегда, показал себя в полном блеске. Марта была очарована. Фридман нашел случай проявить свою образованность. Литовский запомнил остроты Эгона, чтобы потом рассказать их в другой компании. Всем нам была очень приятна эта помеха. Только Эва перебирала струны альты, точно показывая, что ей жаль времени, но и ее безразличие было показное. Она вполне чувствовала, что весь это фейерверк предназначен ей.

Потом Эгон попросил нас играть.

— Я сяду в сторонке и послушаю. Буду вам очень благодарен, если вы совсем не будете меня замечать.

В скромной квартире Литовских нельзя было "сесть в сторонке". Да и забыть о нем было нелегко.

— Тебе надоест, — сказал я Эгону, не без гор-

дости от того, что мы с ним на ты. — Мы часто останавливаемся и спорим. Это совсем не концерт.

— Неважно, это мне тоже интересно, — ответил он.

Репетиция пошла неудачно. Фридман волновался из-за присутствия зрителя. (Так с ним всегда, если нас слушает человек, перед которым он преклоняется. Когда Губерман присутствовал на репетиции оркестра, у Фридмана дрожали руки, точно Губерману делать было нечего, кроме того, чтобы следить, как Фридман играет почтенную партию вторых скрипок...) К тому же, мы не стали обрывать игру даже там, где надо было что-то выяснить. Я вовсе не был счастлив, когда Левенталь попросил у меня разрешения прийти снова, но отказать ему я не мог.

— Тебе не скучно слушать репетицию? — спросил я.

— Совсем нет, это было по-настоящему увлекательно!

Я улыбнулся про себя. Взгляд его все время был прикован к Эве. Даже наливая себе кофе, он не отрывал от нее глаз. Его особенно интересуют именно репетиции, продолжал Эгон, так он изучает произведение глубже, а придя на концерт, может следить за осуществлением идей.

— Струнный квартет — это микрокосм, — сказал он. — Целый мир в миниатюре.

Потом позволил воображению разгуляться:

— Это тюремная камера, где находятся прикованные друг к другу узами разнообразных чувств четверо осужденных на каторжные работы. Это теплица, где вырастают цветы, привычные к другому климату. Это архитектурное сооружение, построенное не в пространстве, а во времени. Это стерильная лаборатория человеческих взаимоотно-

шений в кондиционированных условиях. Это четыре рыбки в сети, которая тем туже стягивается вокруг них, чем сильнее они трепыхаются.

И так далее и тому подобное. (Он говорит, что сравнения приходят ему в голову группами по полдюжины, вопрос состоит в том, что вычеркнуть.)

Он даже сказал, что, может быть, напишет книгу о струнном квартете, и обещал, что мы не найдем там себя.

— В наше время есть только две возможности, — рассуждал он. — Или бить тревогу, кричать миру о тевтонской опасности, или писать книги ни о чем.

— Про квартет — это ни о чем?

— Я хочу сказать про нечто, не относящееся к нашему времени, нечто такое, о чем можно было бы в той же форме писать и в 1837 году.

— Всякий раз, как меня одолевает тоска по родине или отвращение, мне нужен Шуберт, — продолжал он и стал развивать идею о бегстве в музыку "вместо того, чтобы бежать отсюда". У него в последнее время застопорило "творческий механизм", и ему не стоит оставаться наедине с собой. У этого субъекта слишком большие требования. Есть же предел количеству страниц, которые он может прочесть за день. Жизнь в слове может, наконец, привести его к помешательству. Ему необходимы паузы, заполненные звуками. И именно не беспрестанная музыка, свивающая одну мысль на протяжении всего произведения, но вот такого рода случайные наскоки на музыку во время прерывающейся репетиции. В таких условиях он освобожден от работы по организации путаницы, царящей у него в мозгу. Такая репетиция не позволяет ему отдаться одной мысли. Каждую минуту внимание сосредоточивается на чем-то ином. Как будто кто-то роется в старых заброшенных ящиках, доставая

оттуда забытые грамоты.

После таких слов я уже не мог сказать Эгону, что он мешает. Он объявил, что "будет послушным мальчиком", и в минуту откровенности пообещал даже, что не будет впиваться глазами в "Валькирию" (Впоследствии он изменил ее имя на "Брунгильду". Я восхищаюсь его способностью давать подходящие прозвища. Фридмана он называет Фрейдман...) Хотя она вовсе не смущается, когда ее нанизывают на острие взгляда. Копья ее отточены, она мечет их с молниеносной скоростью и всегда попадает в цель.

Присутствие Эгона на наших репетициях вызывает скрытую напряженность. Кажется, я понимаю ее истоки.

Комедия ошибок:

Эгон полагает, что между мной и Эвой что-то завязывается. Совесть позволяет ему вмешаться в эти отношения. Я женат, а он холост. По крайней мере, формально. И потому нет никакого греха в том, что он станет моим соперником в поединке за милости Брунгильды. У каждого из нас есть копье, которое можно метнуть, камень, который можно бросить, и препятствие, которое надо обойти. Ему нужно какое-то освежающее соревнование, чтоб не погрузиться в глубокую депрессию. У него нет здесь ни издателя, с которым можно ссориться, ни критиков, которых можно поносить. Он не понимает, да и не может понимать, что преувеличенное внимание, которым щедро одаривает меня Эва в его присутствии, испаряется с его уходом. Почему и отчего, я могу только догадываться. Эва не может не замечать впечатления, производимого ею на Эгона ("Палестина невероятно приблизилась к Европе, если в ней есть такая красивая и элегантная женщина..." — сказал он). Ей для чего-то нужно

поддразнивать его. Самый лучший способ делать это, не выходя за правила приличий, — подкрепить его подозрение, будто мы что-то скрываем от него. Почему она это делает? Быть может, потому, что не любит робких людей. А может быть, здесь некий протест против того успеха, каким пользуется Левенталь у женщин. Это оскорбляет ее эстетическое чувство. Эгон тощий, маленький и, кроме глаз, нет в нем ничего, способного привлечь взгляд. Быть может, она стремится доказать, что не всех женщин покоряет известное имя. Быть может, ее злит, что он одарен той самой разновидностью еврейского ума, которой она не любит. А может, ей просто нужно метнуть копье далеко и высоко. Не стану в это углубляться. Меня интересует только окончательный результат. Я улавливаю множество сигналов и не знаю, отвечать на них или молчать. Молчание наше натянуто и вот-вот прорвется. Репетиция квартета опять не такая, как была прежде. Между нами напряженная игра. И бессознательно между мною и Эвой протягиваются нити тайного понимания. Не могу отрицать, что в таком взаимопонимании есть нечто эротическое. Как и музыка, эротика — напряжение, которое тянется до точки, где его уже нельзя выносить.

Тель-Авив, 29.1.1938

Многоуважаемой госпоже Розендорф, чье холодное письмо (которое можно было бы опубликовать в любой газете) принесло огромное удовлетворение отцу одаренной девушки. К похвалам, высказанным в ее адрес крупными музыкантами, следует отнестись с должной серьезностью. Но и тем обстоятельством, что ей не предлагают выступить перед публикой "в нынешние тяжкие времена", тоже не следует пренебрегать. Эти люди, влияние

которых на музыкальную жизнь Германии столь велико, могли бы сделать для Анны еще что-то, кроме разговоров, кои не стоят им ни гроша. Сегодня, а по-моему, уже и год назад, она находится в состоянии, когда ей необходимо пройти испытание публикой, чтобы открыть в себе все душевные силы, в ней дремлющие. И если в Германии трудно распахнуть перед нею двери концертного зала, стóбит, быть может, попробовать в другом месте.

Такова, дорогая Грета, была моя первая реакция на твое столь официальное письмо. Я знаю, что нельзя отвечать издалека в эмоциональной форме, ведь не всегда можно узнать все необходимые детали. Не стану больше распространяться об этом. Письма могут не только связывать, но и разделять. Лишь непонимание может вырасти из иронических фраз, которые неверно истолковываются на расстоянии тысяч километров. И пока удастся отделить дурное впечатление, произведенное лишним словом, проходит много времени и остается неприятный осадок.

Я очень тревожусь. Что происходит? Почему письмо твое дышит такой сдержанностью? Почему Анна написала всего три строчки? Или кто-то вбил ей в голову, что она сможет стереть мое имя из своей биографии, если не напишет четвертой строки? Наверное, и эти вопросы лишь множат непонимание. Но что мне делать — отсюда все это кажется таким странным, а иногда просто пугает.

Я скопил достаточно денег, чтобы оплатить вам обоим дорожные расходы. И хотя у меня нет квартиры, где я мог бы достойно принять вас, но госпожа Бекер согласится дать вам комнату в своем пансионе за совершенно смехотворную плату. Там есть прекрасный рояль, и на нем можно играть по несколько часов в день.

Здесь у меня все устраивается совсем неплохо. Посылаю тебе отзывы о нашем квартете, опубликованные в "Палестайн пост" и в немецкой газете. В ивритской прессе тоже были превосходные рецензии.

Анне на сей раз писать не буду. Она достаточно взрослая, чтобы читать это письмо. Меня не беспокоит, что она узнает, что папа на нее немного сердит. Если мы не научим детей уважать нас, выросши, они не станут серьезными людьми и не научатся воспитывать своих детей.

Твой любящий
Курт

Вчера вечером без всякой причины на меня вдруг напали слезы. Мы играли "Смерть и девушку", и я почувствовал, что слезы душат меня. Я извинился, убежал в туалет и там разревелся вовсю. Когда я вышел, мои коллеги решили, что я болен. (Я доиграл эту роль до конца: со слезами признательности на глазах ел я принесенный рис, сваренный Мартой, точно меня растрогала ее забота о моем здоровье...)

Что-то во мне надломилось. Я должен взять себя в руки.

В чем причина? Ничего в особенности, все вместе. А ведь успех квартета должен был доставить мне радость, способную защитить от таких вспышек меланхолии, которые давно уже не нападали на меня.

Началось это позавчера. В пять часов по берлинскому времени. Я вдруг точно наяву увидел нашу маленькую квартирку. Дверь распаивается и входит человек. На лице Греты, сидящей на диване, приветливая улыбка. Человек делает еще два-три шага, и я вижу, что это Миллер.

Должен, положи руку на сердце, сказать, что у

меня ни разу не было основания усмотреть в поведении Миллера нечто неподобающее. Он поистине наделен всевозможными достоинствами. Человек порядочный, умеющий держать язык за зубами, с гуманными взглядами. Когда-то мы вместе учились в консерватории, и он был одним из самых одаренных учеников на отделении фортепьяно. Потом он унаследовал большую торговую фирму, имеющую отделения по всей стране, и отказался от музыкальной карьеры, чтобы вести семейное дело. Я никогда не видел ничего дурного ни в этом, ни в том, что Миллер из дружеских чувств ко мне вызвался аккомпанировать нам с Гретой на фортепьяно, чтобы подготовить каждого из нас к выступлению перед публикой. По своему характеру он может быть превосходным аккомпаниатором — необыкновенно чувствует тебя, подлаживается к самым тонким оттенкам.

Словно в кино — сидишь в темном зале, события происходят перед твоими глазами, а ты не можешь войти и вмешаться, — увидел я нашу маленькую гостиную. Миллер входит, по обыкновению торжественный, целует Грете руку. Желая выглядеть как можно более деловитым, он тотчас усаживается за пианино. Но Грета, как всегда, говорит:

— Прежде всего кофе. Если не выпьете у нас кофе, мы не разрешим вам играть на нашем пианино.

Он улыбается. Его чудная улыбка — деликатная, полная внимания к окружающим, но не лишенная сметливости. Он садится за маленький столик, пробует печенье с маком — единственное, которое умеет печь Грета, — и хвалит его с неподдельным жаром. Потом пьет свой кофе, опустив глаза, — в нем есть эдакая милая скромность, и когда он в доме один на один с женой друга, то вежливость

окутывает его, как броня. Допив, он говорит:

— А теперь за работу.

Ведь необходимо использовать этот час, когда дочка ушла на урок теории, потом пианино будет занято. Грета тоже улыбается. Настоящий друг. Знает, что времени мало и надо успеть поработать. С ним нет нужды играть в светские игры. Кофе он уже выпил, а без дружеской болтовни можно обойтись — он и так знает, что общество его приятно хозяйке. Более того — насущно необходимо. Она поднимается и с подносом в руках идет в кухню грациозной походкой женщины, знающей, что она красива и сзади. Быть может, в этот миг он позволяет себе окинуть взглядом мужчины, — конечно, в границах хорошего вкуса — ее округлые формы, ее изящные лодыжки, виднеющиеся из-под длинного домашнего платья, выбранного с тонким расчетом, — не слишком интимного, но и не формального, платья, которое надевают, когда ждут в гости близкого друга (у нее два таких, одно с китайским узором, другое в стиле баварского народного костюма).

И вдруг, вернувшись, она, словно уловив взгляд, брошенный ей вслед, понимает, что нет нужды притворяться, останавливается перед ним и берет его за обе руки. Они не произносят ни единого слова, которое могло бы оправдать мгновенную перемену. Он выпрямляется, глаза его уже не могут отрицать того, что видят, и они обнимаются так, будто всю жизнь только и ждали этой минуты...

С чего бы это?

Ведь прошел уже год. И никогда в моем воображении не возникали подобные картины. Ни единого разу.

О себе я думал много. Достанет ли у меня сил следить за собой, чтобы не испортить прекрасные

(и полезные, не стану отрицать) отношения, сложившиеся между мною и Гелой Бекер. Что представляет собой сумасшедшее влечение к дочке хозяев — глубоко зашедшую болезнь или нечто преходящее, связанное с временным голодом? Не лучше ли мне найти здесь какую-нибудь женщину, которая не будет от меня ничего особенного требовать, только чуточку внимания — и у нас установятся отличные, не вызывающие раздражения отношения, эдакая любовь на время, от которой никто не ожидает слишком многого?

Иногда я думал и о Грете. Думал вообще, не просто тосковал. Ведь мы с нею могли говорить об этих вещах откровенно. Мы люди просвещенные, и ни один из нас не требует от другого, чтобы тот жил противоестественным образом. Мы даже позволяли себе циничные шутки в духе неисправимого развратника Хохбаума: "Если дома нет еды, идут в ресторан" или "Если твоя жена не умеет готовить, никто не ожидает от тебя, что ты умрешь с голоду". Но мы знали, что все это слова, так, для внешнего употребления. Это соглашение лицемерно. Можно предположить, что существуют минуты слабости. Но вообще мы ожидали друг от друга взаимного уважения. Что проку в лишних словесах — я не всегда был безупречен. В похвалу Грете скажу, что она не видела смысла мстить мне. В душе я сказал себе, что у нее есть на то право, хоть и знал, что если она этим правом воспользуется, мне будет больно. С такими мыслями я научился справляться.

Но картины-видения мне никогда не представлялись. И вот вдруг...

Кажется, это настроение возникло из-за случайного замечания Эгона Левенталья. Нас было только трое: Бернард Литовский, Эгон и я. Марта еще не вернулась. Эва и Фридман задержались. Я настра-

ивал скрипку, а Бернард болтал с Эгоном. Я вполуха слушал их разговор. Они говорили про какую-то скандальную историю, разыгравшуюся между людьми, мне незнакомыми. Бернард с Левенталем весьма вульгарно обсуждали супружескую измену, и я не хотел вступать в разговор. Бернарду такой стиль по душе. А у Эгона талант говорить с каждым его языком. Могу считать своим достижением: со мной он ни разу не говорил в таком духе.

Бернард сказал про женщину, которую они обсуждали:

— Простокваша, да и только.

Было видно, что Эгону выражение понравилось. Если б Литовский сказал "рыба" или "кусочек льда", он бы, может, и не отозвался. Но раз Литовский придумал удачную метафору, Эгон с удовольствием продолжал болтать.

— Вы правы, — сказал он, — она действительно так выглядит: холодна, бледна и безо всякого вкуса.

И засмеялся. Но тут же добавил:

— Но впечатление может быть очень обманчивым.

— Немало мужчин чувствуют себя спокойно только из-за этого. Им кажется, что раз сожительница не слишком интересуется сексом, нет никаких опасений, что она примет на себя такое наказание еще и в другом месте. Эти глупцы не понимают, что сей кусочек льда, сохраняющий свою форму на холодном противне супружеской жизни, отлично тает в виски. Их ждет сюрприз. Та же самая женщина, хранящая столь пристойный вид в постели с мужем, да что там пристойный — вид истязаемой мученицы! — может вести себя в постели с любовником, как вырвавшаяся из узды кобылица, ведь все равно все препоны рухнули...

Миг открытия... До боли пронзила меня мысль,

что он, сам того не сознавая, говорит обо мне.

Точно внезапная вспышка света. И — великая тьма.

Сегодня я впервые побывал в комнате Эвы. Наша дружба крепнет. Это приносит мне большую радость, но немного тревожит.

Меня пригласили выступать в зале, где нет пианино. Я колебался, хотя мне предложили четыре фунта. Опасался играть партиту Баха для скрипки соло перед группой усталых рабочих. Под конец пришла идея: отдам Эве долг. Предложил ей вместе сыграть "Сарабанду с вариациями" Генделя — Гилверсена.

Она с радостью согласилась, но поставила условием, что не будем делить гонорар. У нее ни в чем нет недостатка. Я отказался: это оскорбительно для моей чести. Она засмеялась: у мужчин честь в кармане. Предложила устроить репетицию у нее дома.

Дверь открыла хозяйка квартиры — немолодая маленькая женщина с толстой косой, уложенной вокруг головы в форме башни. В ее больших глазах запечатлелась обида. Сперва она поглядела на меня так, будто я перелез к ней через забор, но, увидав скрипку, успокоилась.

Принесла чай с печеньем, даже не спросив, хотим ли мы чаю. Сонечка (так Эва с ласковой насмешливостью называет свою хозяйку) подумала, что мой визит — прекрасная возможность внушить нам несколько сионистских истин. Тот, кто ест ее печенье, должен ее выслушать. Музыканты — люди, отрванные от корней, их надо высадить в почву.

Эва, должно быть, любит включать этот маленький кипятильник. Старушка, пронизанная идеологией до мозга костей, ничего не замечает. Начался

разговор глухих. Сонечка сказала, что евреям Германии, может быть, придется дорогой ценой заплатить за "банкетный сионизм", которого они придерживались все эти годы. Эва ответила, что и сионистам не светит лучшее будущее, ведь это сумасшествие — оставлять горстку евреев в руках миллионов арабов. Сонечка была потрясена:

— Так что же вы здесь делаете?

Эва невозмутимо спросила:

— У вас есть для меня на примете другое место?

— Для евреев нет другого места, — провозгласила Сонечка. — Евреев преследуют повсюду.

— И в Америке? — переспросила Эва.

— Если не сегодня, так завтра, — резко бросила хозяйка.

— Я ищу не такое место, где евреев не преследуют, а место, где еврей может убежать от самого себя.

Когда мы остались одни, Эва поиронизировала над пылом своей хозяйки, которая всегда точно знает, что именно нужно: чтобы хорошо играть, нужна душа, а не техника... народу нужна родина... красивой женщине нужно немедленно выйти замуж, чтобы не подвергать опасности другие семьи... и еще несколько подобных аксиом.

В душе я отнесся к Эвиным словам критически. Тоже мне интеллектуальное развлечение — насмехаться над чувствами.

У меня нет определенного мнения по тем вопросам, что здесь обсуждались, но мне показалось, что не подобает смеяться над серьезностью этой женщины. Правда, я не осмелился сказать этого.

Едва хозяйка ушла, как напряжение, стоявшее в воздухе, разрешилось беспричинным смехом. Мы точно ждали минуты, когда она уйдет и мы сможем

расхохотаться. Потом, словно устыдившись такой глупости, мы разом замолчали. Так родилась какая-то интимность, и впервые мы заговорили друг с другом откровенно. Правда, это была иная откровенность, чем с Гелой Бекер. Той я в первый свой вечер в Эрец-Исраэль рассказал все, что может человек рассказать о себе. А через две недели мы перешли на ты. Беседа между мною и Эвой крутилась вокруг тем, которые можно обсуждать со всяким. Я не рассказывал ей подробности о своей жизни, а она и того меньше. И все же никогда я не ощущал такой близости к чужой женщине.

Горячий чай не пошел нам на пользу. Воздух был горячий и влажный, нельзя было взяться за инструменты потными руками. Мы вышли на балкон — немного остыть на ветру.

Какое-то время мы постояли молча. Точно уже исчерпали дневную порцию разговоров. Во дворе возле мусорных ящиков играли дети. Жалкая собачонка бегала за ними и тявкала. Напротив на балконе развешивалось мерзкого вида белье. Корсет, выглядевший орудием пытки, и огромные женские трусы, не отстиранные как следует. В квартире за этим балконом что есть мочи визжало радио.

Улица тоже не радовала взора. Даже море, вид которого обычно успокаивает, открывалось нам между двумя рядами белых домов, как пластина раскаленной меди.

Вдруг Эва поглядела на меня и сказала глубоким грудным голосом влюбленной женщины:

— Вы когда-нибудь видели Штейнбах?

Я, видно, поглядел на нее в изумлении, потому что она сразу стала объяснять:

— Штейнбах на Этерзее.

Я был там. Помнил к тому же, что читал где-то, что Малер снимал там дом возле озера. Когда

гостивший у него Бруно Вальтер возвел однажды очарованный взгляд к горам, Малер сказал ему: "Не стоит трудиться. Я уже все это положил на музыку".

Я не понимал связи. Глаза наши были устремлены на клочок желтого неба и на море, точно покрытое ржавчиной, — что общего между ними и горным пейзажем с занесенными снегом вершинами и прозрачным ярко-синим озером?

Она не замедлила с объяснением:

— Мне трудно без...

Лицо ее было бледно, а губы сжаты до боли.

— Я задыхаюсь здесь, — произнесла она мгновение спустя.

Наступило долгое, неловкое молчание. Я чувствовал, что должен что-то сказать, но не мог выдать утешительных слов. Неуверенно предложил ей начать репетицию. Времени осталось немного, а пьеса нелегкая. Но она не сдвинулась с места.

— Все здесь против меня — климат, пейзаж, люди... Иногда у меня чувство, что я задыхаюсь. Сколько времени можно так жить?

Я дал глупейший в этих обстоятельствах ответ — ко всему привыкают. А может, и нет лучшего ответа. Впрочем, в голове у меня мелькнула одна утешительная идея: нам надо радоваться, что мы не там, в Германии. Она согласно кивнула.

— Может, будет война, — прибавил я.

— Если б не было у меня музыки, просто не знаю, как...

Я не дал ей закончить фразы. Моя ладонь накрыла ее длинные пальцы, обхватившие железные перила.

Первое прикосновение. Трудно описать пронесшееся во мне чувство. Чувство человека, совершившего поступок, требующий исключительного му-

жества. По ее пальцам не пробежало даже легкого трепета — ни отзыва, ни отталкивания. Они покоились под моей ладонью точно парализованные.

— Музыка — это и есть наш климат, — сказал я, чтобы затушевать тягостное впечатление от ее слов. — Это родина лишенных родины, — процитировал я слова Эгона, не сказав, чьи они, а от себя добавил: — Сегодня почти все великие музыканты — люди без родины.

— Нет выхода, надо играть, — сказала она, точно очнувшись, и потянула пальцы, они выскользнули из моей руки, как скользкие ползучие зверьки. Холодок металла — как вознаграждение за холод пальцев, разделивших нас. Она вошла в комнату, я вслед за ней.

— Мы попусту тратим дорогое время, — она через силу улыбнулась. — Правда, это короткое выступление перед рабочими, но, может быть, Губерман прав: в этой сумасшедшей стране можно найти среди кузнецов и сапожников какого-нибудь чудака, который наизусть знает партитуру Шенберга.

Но, поднимая альт к плечу, она бросила мне тяжкий вопрос:

— А мы разве великие?

И прежде, чем я понял ход ее мысли, объяснила:

— Я, видно, не из великих, которые могут без родины.

С моих губ чуть не сорвалось: напрашиваетесь на комплименты? Но я подумал, что она рассердится. Она говорит со мною как с другом, а я отделяюсь расхожими салонными фразами. Я предпочел промолчать, настраивая скрипку. Дал длинное "ля", чтоб она могла настроить свой инструмент.

— Может, начну играть на металлических струнах, — сказала она нетерпеливо, заметив, что почти все струны ослабли.

— Струны из сухожилий не для этого проклятого климата.

Но и после того, как инструменты были настроены, мы не начали играть. Уже с альтом на плече, со смычком в правой руке, поднятым, словно копье, она снова заговорила:

— А может, войны не будет. Зачем им воевать, если они и без войны все умеют получить? Гитлер сумасшедший, но не дурак. Может, он рассуждает, как Бисмарк: все Балканы не стоят переломанных костей одного померанского гренадера.

Только после того, как завершилась эта самая длинная политическая декларация, какую я слышал из ее уст, она опустила смычок на струны.

Во второй вариации я вступил с опозданием.

— Что с вами сегодня? — встревоженно спросила она. — Вы рассеяны.

”Это от ожога холодных твоих пальцев на моей ладони”, — хотел сказать я.

— Я получил письмо из дому, — ответил я первое, что подвернулось мне в тот момент. Но как только я выговорил эти слова, они перестали быть предлогом. Я действительно получил из дому письмо, полное неясных намеков, я их так и не мог расшифровать. Что за ”экзамены”, на которые не удалось попасть Анне? Каких документов не могла принести Грета?

— Что-то случилось? — спросила она, не отнимая смычка от струн, — словно намек, что нет смысла пускаться в пространные объяснения. Мы уже выпили чаю и поговорили, и жалко времени. Это разозлило меня: когда что-то камнем лежит на сердце, можно было бы и украсть двадцать минут от репетиции, а меня вынуждают ограничиться телеграфным ответом.

— Там какие-то намеки, которых я не понял.

Жена полагает, что все письма вскрываются.

— Покажите мне, — вызвалась она помочь. — Женщина поймет, на что намекает другая женщина, — сказала она и провела смычком по "соль" и "до", точно подгоняя.

Я в тот же миг решил воспользоваться ее советом и показать письмо Геле Бекер. Более достойно открывать неприятности жены, оставшейся в далеком Берлине, перед настоящим другом, чем перед женщиной, с которой я в мечтах занимаюсь любовью. Да и само раздражение — почувствовал я — это степень интимности, которой следует остерегаться.

— Начали с ля, *allegro**. *Spiccato*** может быть чуть острее, — я взял на себя инициативу.

Она лукаво глянула на меня, будто поняв причину моего нетерпения, и, точно стараясь помириться, вмиг подхватила мое острое спиккато. Сразу вошла в настроение пьесы, именно так, как я его понимаю, и на мгновение у меня возникло чувство, какое бывает у человека, когда после длинного дня он возвращается домой и находит там любящую жену, угадывающую каждое его желание.

Я не удивился, когда она, не заметив, обратилась ко мне на ты, даже не спрашивая моего разрешения, и когда еще не истаяло эхо заключительного реминорного аккорда, сказала, будто слова родились из него:

— Быть может, это покажется тебе странным, но для меня нет сегодня ничего важнее квартета.

Она сказала это без сентиментальности, решительно, словно провозглашая нечто утвердившееся в ней после долгого разговора с собою. По ее напря-

* Букв. "оживленно", "весело" (*ит.*); в быстром темпе.

** Букв. "отрывисто" (*ит.*); способ извлечения звука на струнных смычковых инструментах.

женному взгляду я понял, что в этих словах скрыт намек: и тебе он тоже важен, квартет, и потому нам лучше не делать глупостей.

Она читала в моей душе, как в открытой книге. Почувствовала, что бурлило во мне, и решила предостеречь. Если мы дадим свободу чувствам, то поставим под угрозу квартет. Квартет Розендорфа с Эвой и без нее не одно и то же.

Надо снова восстанавливать преграду, рушащуюся на глазах.

— Мне это не странно, и для меня, как и для вас, — я снова восстановил официальное обращение, — нет ничего важнее квартета. Оркестр — для заработка, а квартет для души.

— У вас есть еще семья, — отметила она в такт.

Литовский не перестает говорить гадости. Иногда я удивляюсь: человек, играющий с таким уравновешенным чувством, пропитанный столь богатой музыкальной культурой, — а в иных случаях выражается, как извозчик.

Он распространяет про Эву гнусные сплетни, выдавая их за факты, известные ему из первых рук.

Сюда иногда приходит один парень, простой парень, строительный рабочий, видно, влюбленный в Эву. Факт, который нет нужды оправдывать.

Не раз видели мы, как он сидит на улице и слушает квартет. Когда мы выходим с репетиции, он некоторое время следует за нами, но не осмеливается приблизиться. По словам Литовского, которые мне потрудились пересказать, у этого парня был роман с Эвой. Мне трудно в это поверить. Женщина такая осторожная, никого к себе не подпускающая, — что могла она найти в таком парне?

Бернард любит всякую дешевку в жизни. Но поскольку большую часть дня он занимается музыкой, то находит дешевку в воображении. Это тоже способ прелюбодействовать в душе с женщиной, с которой ты даже не осмеливаешься заговорить о том, что у тебя на сердце, — вообразить ее в объятиях дикаря. И на меня это оказало нездоровое воздействие. Утром я обнаружил, что возбужден до того, что не могу с собою справиться. В состоянии помрачения чувств рука моя словно сама собой потянулась к головке Рут — словно ласка, которую можно было истолковать как выражение похвалы в редкий музыкальный момент, который вышел удачно, — но она прекратила играть и отдалась этой ласке. Лицо ее сильно побледнело, глаза горели. Я быстро отдернул руку, но зло уже совершилось. Рухнула еще одна перегородка.

Когда мы вырваны из своей естественной среды, сдвигаются нравственные критерии.

В девятнадцатом веке в ее возрасте уже растили потомство, но мы-то живем в двадцатом.

Неотвратимое произошло.

Невозможно изнасиловать свою природу. Сперва я хотел верить, что это просто жест великодушия, но более уже не могу отрицать мощь этого чувства. Я с трепетом и болью восстанавливаю в памяти мгновения бурной страсти, словно в них скрыт знак, который неверно понят, и только если вспомню все подробности в правильной последовательности, придет избавление.

Есть еще один опознавательный знак: острая боль, которую я испытываю всякий раз, как думаю, что то, чего я не осмеливался даже вообразить, она делала и с Иваном, с этим русским. Он красивый парень, все так считают, и беспредельно упрямый.

Он кидает на Эву такие взгляды, будто ему есть что вспомнить. Мысль эта вызывает во мне столь глубокую боль, что я не могу сжать ее в объятиях без того, чтоб передо мной не возник его образ. Но спрашивать я не стану. И не только из вежливости.

Она еще не позволила мне проникнуть к себе в душу. Даже историю ее жизни я слышал от Эгона, собравшего сведения по крохам из разных источников.

И страх: что проснусь однажды утром и — ее нет.

— Мы должны вести себя так, будто вся жизнь перед нами, и так, будто завтра нас могут лишить этого счастья, — сказал я ей.

А в Эвином взгляде я, кажется, прочел, что преувеличиваю важность наших отношений, ей же приятнее, чтобы связь эта не нарушала ее покоя. Нет ничего более ей ненавистного, чем истерия, намекнула она.

Грета — непростительная ирония приводить здесь ее слова в доказательство — часто говорила: "Поскольку ты не способен на поверхностные отношения, ты влюбляешься в каждую, кому удалось затащить тебя к себе в постель".

У меня нет больше сомнений в том, что я люблю эту женщину, которую не способен понять. Человеку, видно, нужно нечто большее, чем простое влечение к противоположному полу. Утешаюсь тем, что Грету это не заденет. Но я же знаю, что это ложь. Грета вообще не думает о сексе, как бы требуя, чтоб ее уважали за это. А Эве как будто все равно, уважают ли ее, но чем она больше смеется, тем больше я ее уважаю. А ведь прежде я думал, что такая свобода дозволена только там, где безнравственность прикрыта отчуждением. В тридцать восемь лет я, видно, еще юноша, изучающий первую главу в любовной книге.

Как жаль, что я должен таить свою любовь даже от нее. Ей легко с такой любовью на час. Она не хочет, чтобы я "делал из этого историю". Всякий раз, как душа моя выходит из берегов и я даю волю чувствам, она призывает меня к порядку. У меня жена и дочь, на мне лежит ответственность за то, чтобы обеспечить им безоблачную жизнь. Она словно хочет сказать: в тот день, когда все вернется на свои места и мир отвернется от безумия, мы с тобой снова должны будем стать друг для друга всего лишь скрипкой и альтom.

Неисповедимы пути судьбы. Я, с отвращением относившийся ко всему подпольному, критиковавший брата за то, что его слишком очаровывал ореол жизни подпольщиков, я живу сегодня в глубочайшем подполье из-за простой любви, представляющейся мне самой естественной на свете.

Мы должны скрывать от товарищей, что встречаемся вдвоем не для репетиций. А я еще должен скрывать, как я люблю ее. Даже этого я не могу сказать ей: в глубине души я сознаю, что у любви, для которой нет будущего, нет и настоящего. В моем письме в Берлин будут пустые строчки, заполненные ложью.

Я тревожусь за судьбу квартета.

ВТОРАЯ СКРИПКА — КОНРАД ФРИДМАН

5 ияра 5697 года¹⁷

Четыре года не раскрывал я дневника.

Долгий срок для человека, которому двадцать семь лет от роду. Бросая, я верил, что уже избавился от детских глупостей, а теперь вот снова возникла потребность записать свои мысли и переживания. Непреодолимая потребность, почти мания. Дневники пишут самые разные люди, в том числе люди действия, — не одни интраверты, верящие, будто любая подробность их жизни принадлежит истории, и не желающие оставить своим биографам возможности для догадок. Иные пишут дневники потому, что уверены в своей литературной одаренности. В дневнике они отрабатывают писательскую технику, а может, делают даже заготовки для рассказов. Есть и такие, что пишут дневник, надеясь, что он будет кем-нибудь найден, и тогда девушка, которую они любят, или родители узнают об их страданиях.

Я не отношусь ни к одному из этих типов. То, чем я занимаюсь, не относится к истории, а биографа у меня и подавно не будет. Литературного таланта у меня тоже нет. Дора не найдет моего дневника, потому что даже не знает, где я живу. Да ей и незачем заглядывать в мой дневник, чтобы узнать.

Если я захочу, чтобы она узнала о том, чего пока не знает, мне придется взять себя в руки и написать ей письмо.

Я пишу, чтобы привести в порядок мысли. Иногда они вдруг нахлынут таким бурным потоком, что я оказываюсь в полной растерянности. Писание — способ успокоиться. Оно замедляет темп и заставляет формулировать мысли в ясной и убедительной форме.

В сущности, всякий раз, как происходила в моей жизни какая-то перемена, я вытаскивал дневник. В десять лет, когда решил стать христианином, вел его полгода. Может быть, верил, что Иисус ночью тайком читает о том, как я его люблю. Перестал, когда стали появляться мысли об отходе от веры. Решившись вернуться к еврейству, я снова взялся за дневник. Обеты верности иудаизму, что заносил я тогда на его страницы, отец с великой гордостью показывал своим знакомым. Это было так стыдно, что я все сжег. А в "Хохшуле", учась еврейской премудрости, я набрасывал в дневнике черновики статей, которые так и не были написаны. В шестнадцать лет, став сионистом, я записал свое кредо, чтобы проверить себя, — буду ли придерживаться тех же взглядов через два года. В Эрец-Исраэль я вернулся к этим листкам и остался собой доволен. В Бен-Шемене я почти полгода вел дневник. Влияние на меня моих учеников было сильнее, чем мое влияние на них. В системе их понятий ведение дневника — занятие сентиментальное, отлично подходящее учителю музыки, но не подобающее человеку, работающему в коровнике. К тому же, чтобы передать то, что меня волновало, нужен литературный талант не чета моему. Легче было цитировать Рильке. Он написал то, что я чувствовал, лучше — не в лоб — и куда вернее. Без истерии.

Теперь я испытываю потребность дать отчет самому себе. Уже несколько месяцев я в оркестре, и настало время спросить себя, что же происходит.

Не стану отрицать, что и настроение несколько влияет на меня. Комната, где я живу сейчас, унылая и пустая. Кроме скрипки, пюпитра и нескольких книг, только кровать и стол. Даже стула нет. И из окна ничего не видно — одни мусорные ящики, забор, да стена ближайшего дома. В гости ко мне никто не приходит. У меня нет здесь ни одного друга. Оркестранты мне не друзья. Они живут в одном мире, а я в другом. То, что мне необходимо высказать, наверняка кажется им чудачеством. Если я скажу все, что думаю, они решат, что я или сумасшедший или лицемер. Хорошо, что мне надо остановиться и собираться на репетицию. Автобусы ходят здесь редко. Постоянный распорядок, которого ты вынужден придерживаться, это подчас якорь спасения для людей вроде меня. Но, может, мне лучше больше вообще не употреблять выражение "люди вроде меня". Ведь я и сам не знаю, что я за человек.

Еще одна строчка, на бегу: жду-не дождусь того дня, когда я смогу писать дневник на иврите.

На иврите я пишу медленно. Может, напишу меньше лишнего.

На следующий день.

Игра на скрипке была для меня всегда делом побочным, хоть учителя и говорили мне, что я должен все бросить и отдаться музыке. Не раз я "пользовался" скрипкой, чтобы перейти из одной области в другую. Меня оправдывали из-за музыки, когда я ушел из "Хохшуле". Если б я выложил учителям истинные свои мысли, если б заговорил о непримиримом противоречии между религией и

государством, в котором они живут, — на меня бы всерьез рассердились. А так мы расстались мирно. Отец тоже не мог бы понять, почему я пренебрегаю диссертацией, которую и писал-то только, чтобы ублажить его, если бы я не сказал ему, что вся моя жизнь в музыке. Так я мог скрыть от него приготовления к переезду в Эрец-Исраэль, который очень тяжело на нем отразился.

Приехав в Эрец-Исраэль в 1932 году двадцатидвухлетним мужчиной, за которым волочилась докторская степень, я был твердо убежден в верности принятого решения — осуществить свои идеалы на практике, — и готов был увязать все, что у меня было, — кое-какие книги и неплохую скрипку — и заложить все это за пару крепких рабочих башмаков. Я хотел "принести себя в жертву на алтарь национального возрождения", а скрипку пустить на дрова для жертвенного огня. Душу переполняло возвышенное чувство жертвенности.

Немногочисленные знакомые выбрали для меня менее героический путь — нашли мне работу в Бен-Шемене. Мне сказали, что тамошняя школа готовит детей-сирот к сельскохозяйственному труду, и это мне подошло. Я согласился преподавать пение и игру на дудочках, но потребовал, чтобы мне, кроме того, дали возможность работать в коровнике. Это укрепило мое положение в глазах учеников, хоть я и не для этого пошел туда работать. Я искренно хотел стать халуцом¹⁸. И чем более скучной была для меня работа в коровнике, тем сильнее наказывал я себя тем, что брался за самые тяжелые работы. Правда, я нашел нечто интересное в молчаливом соседстве этих больших животных и даже посвятил многие вечера изучению руководств по разведению крупного рогатого скота, но сам физический труд не приносил мне истинного удовлетворения.

Я не мог отказаться от скрипки. Это почему-то сильно меня угнетало. Точно я не выдержал испытания.

И тогда я создал в Иерусалиме трио с госпожой Файнгольд и с мистером Зильберманом, оно просуществовало до того времени, как в стране вспыхнули беспорядки. Совсем не плохое трио по местным масштабам, если учесть, что я мог посвятить ему только один день и два вечера в неделю. Мы также иногда давали концерты и чувствовали себя настолько хорошим ансамблем, что у нас достало наглости играть перед Губерманом.

Кстати, это было для меня большой неожиданностью. Работа в коровнике не испортила моей техники. Пальцы мои не загрубели от дойки, и я легко вошел в форму. Временный перерыв даже оказал благотворное воздействие. Во мне произошло какое-то внутреннее созревание, да и с музыкальной точки зрения я стал более зрелым. Точно так же, как голод увеличивает аппетит и возвращает вкус простым кушаньям, так и отречение от музыки, попытка отказаться от нее вернули мне вкус к ее элементарным основам. Я снова открыл для себя очарование скромной лирики. Научился ценить весомость тишины, завершающей музыкальную фразу, которая содержит вопрос и отказывается от ответа. Быть может, повлиял и опыт бурных личных переживаний. Музыка вновь открылась мне как история человеческой души, охватывающая широкий спектр чувств. Тот факт, что на какое-то время я поставил под вопрос само право музыки на существование, и в звуке дыхания добродушных коров и в коровьих лепешках нашел более высокие нравственные ценности, чем в "Магнификате" Баха, — все это заставило меня открыть в своей душе более серьезное тяготение к духовному миру,

воплощенному в музыке.

Это примирение принесло мне много радости. Некоторое время меня удовлетворял такой компромисс между искусством и жизнью. Бен-Шемен был местом, где я мог найти счастье. Я делил свое время между делом, которое исполнял достаточно хорошо, в меру своих сил, и другим делом, важность которого признавал. Большого мне и не надо. Думал, что если судьбе будет угодно, я обзаведусь семьей. Отцу я написал: "Я нашел свое место и себя". Он ответил: "Если это действительно так, я буду счастлив твоим счастьем..."

Когда Губерман предложил мне вступить в симфонический оркестр, я не дал ему ответа сразу. То была немалая наглость. Люди дожидались очереди, чтобы пройти трудный экзамен, а я позволил себе колебаться. Сперва я сказал Губерману, что не уверен, достоин ли я. Он улыбнулся в ответ: он слышал меня в Иерусалиме. А потом сказал: "Я ведь не предлагаю вам место концертмейстера. Всего лишь второй скрипки. Для этого вы, по вашему мнению, достаточно хороши?"

Я подозревал, что он выбрал меня не из музыкальных соображений. Кажется, он хотел взять в оркестр кого-нибудь, кто знает условия жизни в Эрец-Исраэль. Он хорошо понимает, какие отношения могут создаться в коллективе, если никто из составляющих его людей не понимает, где он живет. Это подозрение еще более укрепилось во мне, когда я рассказал Губерману истинную причину своих колебаний и сомнений.

— Нам нужны такие люди, как вы, — сказал он с искренней симпатией, даже с уважением. Без иронии.

Потом прибавил:

— Каждый из нас вносит свой вклад своими

средствами для достижения великой цели.

Идея его была ясна: наше оружие — это скрипка.
"Наше!" — отличная шутка.

Но я все же вступил в оркестр. Целый месяц, как ненормальный, играл я гаммы и упражнения, чтобы в игре не ощущалось никакой тяжести. Но после того, как я несколько недель отыграл в оркестре, во мне снова ожили сомнения. Мне трудно представить себя душевно удовлетворенным жизнью профессионального музыканта. Человек, который ест, играет и спит, которого волнует, что его трехсекундное соло вышло не так удачно, как ему хотелось. Я не способен стариться в оркестре, продвигаясь от одного пюпитра к другому, накапливая пенсионный фонд и борясь за то, чтобы новых музыкантов не принимали, пока мне не прибавят зарплату. Даже в дни, когда повсюду царило приподнятое настроение, когда Тосканини получил звание почетного гражданина Тель-Авива, участок земли в Рамот-ха-Шавим, и в его честь посадили дерево в лесу Керен каемет¹⁹, я остался холоден. Все это мило и прекрасно; необходимость оркестра признают также и люди действия, но мне оркестр не может заменить живой связи с землей, с трудом, с халуцим. Но кому я мог это сказать? Дора в Бен-Шемене, а я в Тель-Авиве. И — положи руку на сердце — разве не принял я предложения Губермана потому, что не мог больше выносить это положение? Мы так близки и так далеки.

И какова цель того, чему мы с Губерманом (если говорить иронически) служим нашими средствами — он своим страдивари, а я черт знает чем?

Я думаю о сионизме. Цели Губермана — далекие, но и менее практические. Согласен, что необходима связь с Европой. Без нее нам угрожает опасность левантизации. Это верно. Но я не верю в то, что

у евреев есть историческая миссия в Европе. Эта глава кончена.

Эх, право проповедовать свои убеждения другим я потерял в тот момент, когда согласился играть в оркестре. Музыкант, скрипач — ну и помалкивай. Смешно проповедовать халуцианство, будучи облаченным во фрак.

Я знаю все успокоительные формулировки: если музыка — самая чистая форма человеческого сознания, как говорит Шопенгауэр, то она жизненно необходима и для формирования национального самосознания. Очень маленькая мудрость. Какая музыка? Шуберта? Мендельсона — оттого, что он был еврей-выкрест? Или та, которая будет создана здесь, а нам суждено быть физическим фундаментом, на котором она будет выстроена?

Возможно, мне не надо было бежать от Доры в место, столь далекое от самого себя. Фраза вышла неуклюжая, но мне она очень понятна.

2 сивана 5697 года

Позавчера скончался доктор Манфред.

Я поехал в Бен-Шемен, чтобы разделить с Дорой ее горе. Не имеет смысла расписывать это как героический поступок, поскольку дороги не опасны.

Беспорядки улеглись, да и полицейский конвой сопровождает автобусы.

Но это был действительно акт мужества с моей стороны — вернуться и увидеть ее.

Я уехал из Бен-Шемена внезапно и не простился с ней как следует. Боялся, что расставание выйдет слишком взволнованным. С моей стороны, не с ее. Боялся еще увидеть, что наше расставание ее вовсе не печалит. Она, возможно, даже вздохнет с облегчением.

Потом мы не переписывались. Только раз она написала мне открытку с просьбой прислать ей ноты. Я отправил их без письма. Она послала мне деньги, что само по себе унижительно, и спросила, почему я не написал хоть несколько слов. Разве есть у меня причина сердиться на нее? Я написал ей детское письмо, и она поняла, что нет смысла отвечать на него.

Теперь я обрадовался, что Дора не восприняла этот внезапный приезд как попытку вмешаться в ее дела. Она с уважением отнеслась к моей потребности разделить ее горе, хотя про доктора Манфреда мы совсем не говорили.

Лучше было молча играть. Сонаты для скрипки и фортепьяно дали нам исключительную возможность молчать вместе обо всем, что болело у нее и у меня. Две совсем разные боли.

Здесь надо назвать вещи своими именами.

В свое время я поехал в Бен-Шемен просто потому, что у меня не было товарищей ни в каком другом месте. Предложение преподавать там представлялось мне не хуже других. А потом появилась слишком хорошая причина там остаться.

В коровнике, между грудой кормов и сточной канавой, где печальноглазые коровы каждое утро со стоическим терпением взирали на владевшую мной душевную бурю, я узнал не только радость существования, выпадающую праведникам, кои мало говорят и много делают, но и свою единственную любовь — великую и истинную, одновременно сводящую с ума и вновь приносящую успокоение. Возможно, чувства мои не дошли бы до такого душевного накала, до таких перепадов от надежды к отчаянию, если бы тут не соединились гордость революционным переворотом, который я совершил в своей жизни, и любовь к Доре Вольф. Соединились?

Это неточное слово. Это было одно нераздельное целое.

Точно лунатик, сходящий с ума от счастья и тревоги, шел я каждый вечер в третью смену доить коров, не успев отоспаться днем. Мысль, что я встречу ее в этот час и в этом месте, что она ни за что не пропустит и не опоздает, вызывала во мне такую дикую радость, что вся скучная работа, которую я делал в этом убогом коровнике (еще до того, как меня научили доить и повесили в чине), была для меня словно богослужение. Я всегда просыпался раньше нее, во мне была странная чуткость, задолго до срока дойки сон бежал от меня. С нетерпением ждал я, лежа на своей койке, звона будильника в ее комнате, находившейся в конце коридора. Я не помню звука, тревожившего мою душу больше, чем этот монотонный механический звон, нарушавший тишину ночи. И еще звук ее шагов в тяжелых рабочих ботинках по бетонной дорожке, ведущей к коровнику. В ту минуту, как ее фигура в большом не по размеру комбинезоне цвета хаки появлялась на освещенном участке дорожки, и я видел, как змеилась по спине ее толстая коса, а сонные глаза улыбались мне навстречу, точно радуясь, что я победил ее в соревновании старательности, мне надо было сделать глубокий вдох, чтобы не потерять сознание. Целый год я любил ее так — она оставалась такой же близкой и такой же далекой. Любил молча, с глубочайшим почтением, с затаенным счастьем и молчаливым отчаянием. Я не осмеливался открыть ей свою любовь. Боялся потревожить. Боялся, что если она узнает, как я буду несчастен, если она не ответит мне взаимностью, то мы не сможем долгие часы находиться вместе — вместе работать в коровнике, вместе вести уроки слушания музыки, сидеть рядом на собраниях преподавательского состава,

вместе играть... Сперва мы играли просто во время досуга, но впоследствии стали выступать и перед слушателями. После того, как я заболел и в дирекции решили, что это связано с тяжелой работой, и потому разрешили мне заниматься только легкими садовыми работами, — после этого сонаты для скрипки и фортепьяно композиторов-романтиков стали для меня единственным способом выразить свои чувства.

Однажды я написал стихотворение — я старался не быть выпрненным, но все же оно вышло довольно возвышенным по форме. Была там строчка насчет того, что гул, исходящий из темного коровника на заре, когда коровы помахивают своими тяжелыми головами, заставляет солнце подняться на небосклон. В другом месте гул этот уподоблялся пению ангелов-хранителей. Дора нашла стихотворение на моем столе, сразу его схватила (минуту я, затаив дыхание, легкомысленно предавался смелым мечтам) и, прочитав, с улыбкой одобрения положила на место.

— Это самое сионистское стихотворение, какое мне доводилось читать, — сказала она.

В ее устах это был не упрек, а величайший комплимент, но у меня все равно упало настроение. Она не поняла, что читала стихотворение о любви.

Я, видно, последним узнал о том, что она была влюблена в доктора Манфреда, советника по воспитанию при Еврейском Агентстве²⁰, который каждый месяц приезжал к нам на несколько дней из Иерусалима. Доктор Манфред, видно, тоже любил ее, но он был женат, а к Доре долг обязывал его относиться как к воспитаннице. Любовь их так и не пошла дальше общей платформы: восторженных разговоров о поэзии Стефана Георге (мне было удивительно, что они не видят в поэзии Георге на-

чал, противоречащих их мировоззрению) да собраний дружеского кружка выходцев из Вюрцбурга, их родного города.

Иерусалимское трио, распавшееся впоследствии из-за политических беспорядков, было моей печальной "местью". Оркестр оказался самым удачным решением после того, как я узнал правду и мне стало трудно сдерживаться. Пошли беспричинные вспышки гнева или, наоборот, жалости — я уже не мог скрывать любовь, которую мне удавалось таить так долго.

Скрывать? Дора хорошо поняла мое смятение, только делала вид, что ничего не видит. Она мне симпатизирует. А может, и больше того. Но любви ко мне нет в ее сердце. Однажды она обидела меня расхожей и оскорбительной формулой: она-де чувствует ко мне какую-то особую близость — мы с ней "как брат с сестрой". Это был, в общем, отказ. Доктор Манфред занял в ее душе все пространство, отведенное для любви.

Даже мой утешительный приезд, прошедший в полном молчании (имя доктора Манфреда мы ни разу не упоминали), был, пожалуй, обманом. В душе я знал, что ехал к ней с бешеной внутренней радостью, стремясь занять пространство, освободившееся с исчезновением доктора Манфреда. А Дорино желание играть со мной сонаты было как бы декларацией: она не хочет, чтобы я приносил ей в жертву музыку. И это не потому, что она считает, будто у меня такой уж огромный талант и мир потеряет великого скрипача, если я поселюсь с нею в деревне, а потому, что она не любит меня в такой степени, чтобы согласиться на любую жертву. Если б я отказался от скрипки ради халуцианской жизни, она бы с радостью приняла меня в свой лагерь. И может быть, со временем обнаружила бы, что нет

для нее никого лучше меня. Но она не хочет, чтобы я из-за нее менял жизнь. Совесть ее не сможет вынести причитаний липового халуца, который станет оплакивать свои загубленные таланты, чтобы вынудить у нее вечную любовь.

Со смешанными чувствами пошел я играть с Дорой. Мне хотелось говорить, неважно о чем, к тому же я не был уверен, что мы сможем играть как следует, что внутреннее напряжение не скажется на исполнении. Мы давно не играли вместе, и у нас уже нет той согласованности, какая бывала в дни, когда мы играли почти каждый день. Я обрадовался, что появились слушатели, они заставили нас выжать из себя все, на что мы способны. Послушать нас пришло много учеников — значит, я не напрасно потратил время в Бен-Шемене. Мои уроки музыки принесли хорошие плоды. Когда я написал отцу, что преподаю пение и игру на дудочках, он задал мне вопрос: разве это не пустая трата сил — такой скрипач, как я, учившийся у лучших учителей, а ему ничего лучшего не остается, как учить пению и игре на дудочках? Я ответил, что делаю святое дело, — если молодежь вырастает без музыки, то жизнь ее будет пустой и убогой. Он ответил со своей обычной иронией: слова "святое дело" стоит приберечь для чего-то более серьезного.

Я играл с большим волнением, Дора же — в полнейшем спокойствии. Я завидовал ей. Воистину совершенный человек. Отказалась даже от гордости. В глубине души я хотел, чтобы меня восхваляли за то, что я отрекся от скрипки, а она бросила фортепьяно в полном согласии с собой. У меня было чувство, что я приношу жертву, а у нее — ощущение возвышения души. Мы играли сонату Моцарта, потом сонату Бетховена. В перерыве я вдруг увидел, что среди наших слушателей сидит

не кто иной, как Курт Розендорф. Я страшно растерялся. Просто руки дрожали. Но потом выяснилось, что я боялся зря. Розендорф такой человек, который способен понять, что представляет собой скрипач, даже если застал его в самые худшие минуты. А может быть, именно внутреннее волнение и произвело на него впечатление.

В ночь после концерта

Я должен был открыть дневник раньше, но чувства мои настолько перемешались после той поездки с Розендорфом в автобусе из Бен-Шемена в Тель-Авив, что я не мог передать своих мыслей. Я не знал, насколько его предложение серьезно. Он говорил немного шутливо, точно взрослый, заговоривший с ребенком. Но уже после, когда мы встретились в артистической и он спросил меня, обдумал ли я его предложение, я понял, что это были не пустые разговоры для проверки.

Розендорф спросил, хочу ли я играть в квартете, который он намерен создать. Понятно, что первый мой ответ был просто продиктован вежливостью: "Это для меня большая честь", — сказал я. Потом я, не утерпев, рассказал ему, что все еще сомневаюсь в том, стоит ли мне быть профессиональным музыкантом. В сущности, я был счастлив, что он обратился ко мне. В оркестре есть, по меньшей мере, два десятка скрипачей лучше меня. Из признательности я и поделился с ним своими колебаниями.

Я был очень смешон. Слова мои были пустой звук. Разве не ясно, что я уже избрал музыкальную карьеру. И в тот момент, когда он протягивает мне руку, чтобы вытащить из прозябания, я начинаю рассказывать ему о своих высоких идеалах.

Он, похоже, смеялся надо мною.

— Если решите в ближайший месяц, еще не будет

поздно, — сказал он, — я придержу для вас место.

Какая глупость! Намекать Розендорфу, что есть в мире вещи поважнее музыки! Будто он не знает... Ну а по правде — что я предлагаю делать музыкантам? Работать в коровнике, дабы тем самым отреагировать на крушение системы ценностей западной цивилизации? Вернуться в Германию, чтобы создать там вооруженное подполье? Да что мы умеем, кроме музыки? Он, по крайней мере, умеет хорошо делать свое дело. А мне еще предстоит доказать, что я имею право просить плату за удовольствие, доставляемое слушателям.

Но я сделал еще большую глупость. Заговорил о Доре. У меня была огромная душевная потребность упомянуть ее имя. Я сказал, что уважаю ее способность предпочесть идеал воспитания музыкой самому исполнительству. Розендорф отнюдь не пришел в восторг. Не такая уж большая потеря, намекнул он, она играет, как ученик, которого научили разбирать ноты, — и не более того.

Почему я должен был оскорбляться? Разве мне надо, чтобы весь мир влюбился в женщину, которую я люблю? Разве недостаточно, что я один схожу с ума?

Во сне я видел, как Дора с Розендорфом идут под руку и смеются. Я уже соединил их друг с другом! Поэтическая справедливость. Оба они так красивы и ростом под стать друг другу, а я — низкого роста и безобразный. Она достойна чего-то более эстетичного, чем чудище с большой страшной головой.

3 ава 5697 года

Я учусь сжигать мосты. Квартет помогает мне рвать тонкие, но крепкие нити, связывающие меня с Дорой.

Некоторое время я находил у Розендорфа то успокаивающее покровительство, какого не хватало мне долгий период. Прежде я часто вел задушевные и вдохновляющие беседы с доктором Лихманом, который всегда был добр ко мне, потом с доктором Манфредом — до того дня, как понял, что Дора его любит. Но то были случаи "подмены отца", а теперь мне нужен только старший брат, само существование которого внушает уверенность. Вот такой и есть Розендорф. Мы тесно связаны повседневными делами — три репетиции в неделю и еще случайные встречи за кулисами. Мы почти ничего не говорим друг другу, но я все же ощущаю его симпатию к себе — точно удобная одежда, окутывающая тело, согревающая тебя всего. Наверно, странно, что я сравниваю его с доктором Лихманом и доктором Манфредом — людьми, одаренными блестящим даром слова. Розендорф говорит мало. Долгие разговоры утомляют его. Даже при обсуждении интерпретации он ограничивается намеком, не выражая в развернутой форме своих взглядов, не приводя доказательств. Задушевных разговоров нет и в помине. Он замкнут в своей раковине, и оттуда исходят только звуки. Он никогда не станет вести себя, как доктор Лихман, рассказавший про себя самого, чтобы и я не стеснялся говорить о себе.

Есть, кажется, только один человек, перед которым Розендорф раскрывается. Это писатель Эгон Левенталь, перед которым я преклоняюсь. Иногда я завидую Розендорфу и немного даже злюсь на него за то, что он рассказывает Левенталю свои секреты, поскольку тот великий писатель. Если бы Розендорф был человеком более открытым, он говорил бы о себе и со мной. Пусть я не написал ни одной книги, но и у меня есть, что сказать.

Розендорфа я принимаю как духовного наста-

вника, хоть и не могу припомнить, чтобы он высказал какую-нибудь потрясающую мысль. Не могу я также сказать, что взгляды наши сходны или что мы одинаково смотрим на самые важные проблемы. Иногда я чувствую в нем какую-то степень цинизма, исток которого мне неизвестен. В большинстве случаев мы расходимся друг с другом в политических вопросах; во всяком случае, во всем, что относится к евреям, он поражает меня своим постыдным невежеством по части истории и социологии еврейского народа, а еще больше — неоправданной смелостью, с какой судит он о вопросах, требующих хоть каких-то знаний. Боюсь, у него нет даже душевной потребности углубляться в это, точно так же, как он не испытывает необходимости изучать духовные корни нацизма. Его скептицизм не соответствует моему темпераменту, а его враждебное отношение к учению Фрейда, открывшего оконце в глубины души, разумеется, не может сблизить нас друг с другом. И все же, когда я нахожусь рядом с ним, на меня снисходит удивительное душевное спокойствие. Мне точно вдруг становится ясно, что все мои сомнения и колебания несущественны, что музыка может наполнить жизнь до отказа. Одна музыкальная фраза может выразить то, чего не скажешь тысячей слов.

Я восхищаюсь природным благородством Розендорфа, его серьезностью, его щедростью и какой-то скромностью по отношению к исполняемому произведению. В его игре нет ничего напоказ, в ней не чувствуется тех страдальческих судорог, которые видишь на лице нашего виолончелиста, когда мы исполняем поздние квартеты Бетховена. Говоря о щедрости Розендорфа, я имею в виду не только его готовность играть с нулевым звуком, когда тема переходит ко второй скрипке, или прочие тонкости

совместной игры, но и вопросы сугубо прозаические. Не могу не отметить его скрупулезности — он настоял на том, чтобы поровну делить расходы и доходы в квартете, носящем его имя (ибо лишь под таким названием у нас есть шанс привлечь публику). Но не одно это. Узнав, что я собираю деньги, чтобы перевезти в Эрец-Исраэль отца, который покуда отказывается приехать, Розендорф предложил мне заменить его на музыкальном балу, куда он приглашен играть. А ведь Розендорф и сам нуждается в деньгах. Такая способность легко расставаться с деньгами — свойство третьего поколения состоятельных людей. Интересно, был ли столь щедр отец Розендорфа, унаследовавший процветающую бумажную фабрику во Франкфурте, но помнивший атмосферу страха перед экономическим спадом еще в доме родителей. Кажется, только в третьем поколении, живущем в достатке, запечатлевается в характере природное благородство, свойственное людям, от рождения ни в чем не нуждавшимся. Розендорф раздаривает дорогие струны, стоимость которых составляет примерно пятую часть месячного заработка рядового оркестранта, и эта расточительность достается ему столь легко, что, как я подозреваю, он вообще не способен влезть в шкуру человека, привыкшего дважды поглядеть на грош, прежде чем с ним расстаться. Эгону Левенталю он дал займы без процентов, хоть тот никогда не сможет вернуть долг, а сам вынужден жить в доме, где у него нет необходимого уединения, — экономит, чтобы привезти в Эрец-Исраэль жену и дочь. Увидев, что друг в нужде (у Левенталю нет постоянного заработка, и всякий раз, как он ссорится с подругой, у которой живет, и на какое-то время уходит от нее, он по-настоящему нуждается), Розендорф забыл, что его

собственная семья лишилась достатка. Но он такой по натуре: беззаботный, уверен, что богатство само упадет к нему в руки, хотя фамильная фабрика была продана немцу по ничтожной цене и даже эту малость конфисковали, когда открылось, что старший брат Розендорфа, который вел семейное дело после смерти отца, коммунист.

Я знаю, что мое преклонение перед Розендорфом еще не дает мне права назвать его другом. Розендорф — человек, который не станет говорить о душевных переживаниях. Он столь сдержан, что, кажется, нарочно отказывается от слишком тесных дружеских уз. Слово "сторонится", пожалуй, слишком резко, ведь в его взгляде нет той холодности, которую находишь во взгляде людей, стремящихся отгородиться от незваных друзей. Розендорф не отталкивает от себя, только просит, чтобы его оставили в покое, — он слишком чувствителен, и всякое соприкосновение с тем, кто не так чуток, как он, причиняет ему боль.

Я не пользуюсь никаким предпочтением по сравнению с другими. Хотя в глазах Розендорфа вспыхивает нечто отцовское, когда я обращаюсь к нему, но не могу сказать, что он приближает меня больше, чем других. Возможно, это дело принципа, а может, пропасть между поколениями. За все время, что мы играем вместе, я ни разу от него не слышал даже намека на семейные дела, которые его угнетают. Только раз был я у него дома — и не потому, что меня пригласили, а чтобы передать срочное известие, — он принял меня приветливо, хотя я вошел во время урока.

Я благодарен ему за то, что он впервые посоветовался со мной по вопросу морального свойства. Девушка, которую учит Розендорф, — дочь хозяев квартиры, где он живет. Он дает ей уроки

вместо квартплаты. Такой договор позволяет ему экономить деньги. Однако из-за нее он не может взять более талантливого ученика — времени у него хватает только на пятерых учеников. Моральный вопрос встал перед Розендорфом, когда он пришел к выводу, что девушка не очень талантлива. Он не осмеливается сказать это ее родителям и недоволен собой, поскольку из-за нескольких грошей посвящает время ученице, не достойной у него заниматься.

Я еще больше зауважал Розендорфа за то, что такая вещь может его волновать, особенно когда узнал, что двое других учеников вообще не платят ему за уроки — один потому, что он инвалид, а другой — потому, что его мать вдова и не может себе позволить даже малейших излишеств.

Но, кажется, совесть Розендорфа должен бы беспокоить совсем другой вопрос. Я слушал, как шел урок. Девушка вовсе не такая неспособная, как он полагает, — у нее очень хороший слух, и если она будет много заниматься, то сможет играть неплохо. Большинство сделанных ею ошибок вытекало из одной причины. Розендорф, витающий в высших сферах, не замечает, что девушка эта просто влюблена в него. Она прижимает руки к телу, словно защищаясь, поэтому и скрипку держит неправильно. Правая рука не высвобождена и не способна непрерывно двигать смычком. Она вся поглощена совсем иным — мягким голосом Розендорфа, его чуть ощутимыми прикосновениями к кончику ее локтя, дивными звуками, которые извлекает он из своей скрипки.

Тот, кто знал истинную любовь, видит ее повсюду, где она существует, даже когда сами влюбленные ее еще не сознают. Это единственное преимущество, которое нашел я покуда в тяжком чув-

стве неразделенной любви, — оно обостряет зрение и придает способность проникнуть в душу другого.

Едва ли Розендорф знал в жизни разочарования. Жизнь — до прихода Гитлера к власти — относилась к нему благосклонно. Он был с юности известен многочисленными талантами. Лучшие педагоги охотно занимались с ним. Природа наградила его благородными, выразительными чертами лица и душевной красотой, которая под стать прекрасным звукам его скрипки. Словно Создателю захотелось в миг опьянения творчеством вылепить одно совершенное существо. И Он не забыл наградить любимое детище также умом, сочувствием и жалостью к ближним.

Ведь таким людям обычно не хватает силы для любви. У них нет в сердце жалости к менее совершенным созданиям. Им нелегко испытать чувство собственной ничтожности, так хорошо знакомое людям вроде меня, остро сознающим свои ограничения и слабости. Они всегда окружены поклонниками, и потому им трудно отличить любовь от преклонения и почтения. Они черпают все эти подарки судьбы полными горстями, и перегруженные их руки могут упустить как раз самый дорогой дар — словно богач, неохотно принимающий подарок, который осчастливил бы бедняка, — неохотно потому, что ему некуда его девать.

Те, кого с юности сопровождает признание, не помнят бурной любви или захватывающих приключений. Так и Розендорф — он женился молодым, встретив девушку, с которой они во всех отношениях подходили друг другу. Жена его, как и он, одарена всевозможными талантами. Как и он, она сумела найти золотую середину между музыкальной карьерой и семейной жизнью. Жизнь баловала их. Они не пустили на порог своего дома не-

доброжелательную напряженность, возникающую вследствие соревнования за престиж и признание. У них дочь, унаследовавшая от обоих и музыкальный талант, и спокойную красоту. В двенадцать лет она уже победила на конкурсе молодых исполнителей, ей предсказывают блестящее будущее. Разлуку, навязанную им трудными обстоятельствами, все трое воспринимают как необходимость, с которой должно смириться. Если богатство человека в способностях, а счастье в характере, то разлука с близкими не может поколебать его душевного спокойствия. Он, конечно, тоскует по близким, но рад, что они в таком месте, где могут осуществить свои стремления. Ведь и солист, разъезжающий по разным странам, бывает дома изредка. Даже здесь, где он одинок, Розендорф ведет себя со скромностью, заслуживающей всяческих похвал. Все эти светские любительницы музыки, пытающиеся и в Эрец-Исраэль вести тот же образ жизни, какой вели в веселом Берлине прошлого десятилетия, вынуждены были отказаться от планов утешить Розендорфа в своих объятиях. Эва Штаубенфельд в одну из тех минут, когда она любит продемонстрировать свой цинизм, сказала как-то: "Розендорф отворачивается от меда, который подсовывают ему под нос, по одной-единственной причине — он настолько влюблен в себя, что у него не остается никаких чувств для других..."

Я не люблю сплетен. Мой интерес к чувствам Розендорфа продиктован не простым любопытством. Это настоящая потребность — понять исключительную личность, зачастую слишком высокую для моего разума. Потребность эта возникает из сознания того, что необходимо как можно глубже понимать товарищей по квартету. Не могу забыть насмешливый взгляд, который бросил на меня Бер-

нард Литовский, когда я при нем высказал такое мнение.

— Хабиби²¹, — сказал он мне на иврите (одно из первых усвоенных им местных слов), — забудьте об этом. В вашем возрасте пора уже излечиться от иллюзий. Люди, исполняющие вместе камерную музыку, не обмениваются ключами от сердец. Они всего лишь готовы прийти к компромиссу относительно темпа, силы звука, фразировки и характера пьесы, которую играют. Если они высокопрофессиональные музыканты, то могут согласовать даже технические частности.

Нет сомнения в том, что факты подтверждают слова Литовского. Если бы многие из знакомых музыкантов дали мне ключи от своих сердец, я нашел бы там затхлый склад устаревших мнений, предрассудков и праздных мыслей. Но это не умаляет моего горячего желания создать союз душ, проникающий во все частности жизни, — по крайней мере, с Розендорфом. Не скажу, что встреча с Литовским пробудила во мне тот же пыл понять его. Со временем я, конечно, узнаю о нем то да се. Сегодня мне не все известно, но пока что он из тех людей, у которых я опасаюсь срывать маску с лица, — вдруг там ничего не окажется. Точно так же и Эва фон Штаубенфельд — только ее я никогда не смогу понять. Может, оттого, что я не из тех мужчин, которые ее интересуют. И ее маску я тоже побоялся бы снимать, а то увижу там нечто, что меня очень огорчит, — чистейший эгоизм. Это не значит, что я сторонюсь Литовского или фройляйн Штаубенфельд. Мне очень нравится Бернард. Его юмор, несомненно, необходим нашему квартету. И поверхностность его рассуждений о политических вопросах меня уже не раздражает, как раньше. Он, по крайней мере, понимает, что полная пассивность

не годится в наши дни. Правда, не могу сказать, что мне симпатична фройляйн Штаубенфельд. Симпатична может быть кошечка, а не тигрица. Тигрицу можно или любить или ненавидеть. Меня раздражает взгляд, который она в меня иногда вперяет, точно я просто вещь, умеющая играть, и все. Но я не недооцениваю ее (более того, я восхищаюсь ее огромными возможностями). Никогда я не смогу с ней сравняться в умении возвращаться к нужному ритму после того, как мы позволим себе некоторое замедление. В ее холодном сердце как будто спрятан точный метроном. Я восхищаюсь также ее умением извлекать теплые звуки, всегда сильные и чистые. Для меня загадка, как человек, столь погруженный в себя, может так много дать другим. Она является на репетиции с застывшим выражением нейтральности — воплощенный профессионализм. Ни разу я не видел ее веселой или грустной. Кроме молнии, которая сверкнет порой в ее глазах под конец хорошо сыгранной части, или легкого тумана во взоре, когда она недовольна результатом, я не подмечал на ее лице никакого особого выражения.

Я пристально слежу за особой связью, которая развивается между Розендорфом и Эвой Штаубенфельд. Их тянет друг к другу с огромной силой, но они старательно останавливаются на полпути. Не верю, что верность жене заставляет Розендорфа вести себя в рамках строгой нравственности. Правда, я и не отвергаю напрочь такую возможность. Но разве мы не современные люди и разве от мужчины в расцвете сил можно ожидать, что он отречется от удовлетворения элементарных потребностей, если только такое отречение не заложено в его натуре? Я не раз видел, как Розендорф бросает на привлекательную женщину взгляд, из которого становится очевидно, что он охотно удовлетворил

бы свой телесный голод, если б это не было связано с необходимостью обнажать душу. Но на Эву Штаубенфельд он ни разу не поглядел иначе, чем на меня или на Литовского. С одним различием: на нас он смотрит просто — вопрос или ответ, а прислушивание к Эве как будто стоит ему сил.

Эта осторожность, эта попытка видеть во фройляйн Штаубенфельд только альт и нарочно игнорировать ее бросающиеся в глаза чары исходит не из нравственного убеждения, а именно из музыкальных принципов. Я нахожу, что тут проявляется твердость характера великолепного музыканта, поставившего квартет во главу угла. Он способен обуздать свою страсть — хоть она и не осталась бы без ответа, если бы он захотел. Розендорф, кажется, единственный человек, которого Эва уважает. Что он не был далек от таких мыслей, я заключил из разговора, который был у нас насчет состава квартета. Я сказал — просто шутки ради, — что в нашем квартете есть определенная симметрия: двое красавцев и двое уродов (симметрия не полная — красавцы красивы одинаковой красотой, северной, совершенной и отчужденной, а мы, уроды, уродливы совсем по-разному, мое уродство не такое, как у Литовского, — мое печально, а его полно энергии). На губах Розендорфа на миг мелькнула загадочная улыбка. Он точно хотел посмеяться надо мной: великолепное достижение, сударь, заметить столь сокрытый от глаз факт, а именно: фройляйн Штаубенфельд не уродлива. Но он тут же оборвал себя — чтобы меня не обидеть. Потом признался, не вполне серьезно, что у него были некоторые колебания, прежде чем он предложил Эве Штаубенфельд играть в квартете. Когда у тебя в ансамбле есть слишком красивая женщина, имеется опасность, что все будут глядеть лишь на нее. Но потом он,

дескать, подумал, что в этом есть и определенное преимущество. Остальные смогут играть спокойно, точно без публики, на них никто не посмотрит. Игра в квартете связана с особым напряжением, ибо направлена к общей цели, сказал он. Все, что отвлекает внимание от совместных усилий, может только повредить. Особенно, когда есть возможность сердечных осложнений. Иначе говоря: альтистка, одетая в платье Эвы фон Штаубенфельд, важна нам больше, чем женщина, которая его снимает.

Потом Розендорф произнес:

— Я все же решил, что посторонние соображения не должны влиять на наше решение. Штаубенфельд (он стал бессознательно подражать моей манере разговора) играет так, что ей позволительно даже быть красивой. Пока еще никому не запрещали выступать на сцене только потому, что у него или у нее классическая фигура. А уж классическую музыку тем более разрешается играть.

Я рассказал ему хасидскую²² притчу про осла Мессии²³. Согласно традиции, Мессия должен явиться на белом осле. Дело в том, что если он явится верхом на белом коне, все будут обращать внимание на коня, а не на Мессию.

Розендорф от души рассмеялся: притча под стать поводу.

— Я так много узнаю от вас, — сказал он уже серьезно. — Еще скажут, что я пригласил вас играть в квартете, желая расширить свои познания в иудаизме...

Я перечел то, что написал здесь про Розендорфа, и поразился — если кто-нибудь прочел бы это, то решил бы, что я влюбился в него.

Не стану отрицать, склонность влюбляться в красивых мужчин была у меня всегда. Но извращения никогда меня не влекли.

Квартет для меня второй дом.

Первым был Бен-Шемен.

Комната, что я снимаю, не в счет. Это просто место, где можно держать немногочисленные пожитки. Рано или поздно я уйду отсюда, как ушел из комнаты, где жил прежде. Для меня не составляет труда перенести свой скерб на новое место. Всякий раз это приходится делать по какой-нибудь новой причине. В последний раз причиной были политические разногласия. Хозяин оправдывал захват Абиссинии: Италия ведь приносит в Африку цивилизацию! ("Несомненно, есть и экономические интересы, ну так что ж! — прикрикнул он на меня. — В конце концов все пойдет на благо этим неграм, только вчера спустившимся с дерева".) Я не мог прожить под его крышей и лишнего часа. До того я съехал с квартиры по финансовым причинам — хозяева повысили квартплату. Еще раньше переехать пришлось потому, что у хозяев родился ребенок. Мне эти переезды совершенно безразличны. Все равно настоящий дом будет у меня только там, где я найду любящую душу. Покуда я сам по себе, мне сгодится всякое пристанище. Вещи не поработают меня. Моя маленькая библиотека — кое-то из классики и современной поэзии, несколько философских трудов да еще книги на иврите, которые я читаю ради изучения языка, — для меня только приятное средство расширения кругозора. Кроме книг, у меня ничего нет, не считая скрипки и нот, конечно.

Друзья не "посещают мой приют". Единственные гости — мои ученики, они приходят в те дни, когда не собирается квартет. Преподавание для меня вовсе не необходимое зло, которым занимаешься ради заработка, я вижу в нем призвание, как говорят

здесь. Я отдаю ученикам душу — они платят мне сдержанной симпатией. Им трудно подружиться с человеком, который говорит на иврите с иностранным акцентом. Это первое поколение, родившееся в стране, дети эмигрантов, и в них заметны все слабости, присущие такому поколению. Простая, лишенная исторической глубины жизнь, какую они ведут, представляется им естественной. Всякий, кто от них отличается, им чужд. Им кажется, что любой человек, поживший в галуте²⁴, непременно должен был как-то извратиться. Трудно спорить с молодежью, верящей в свои идеалы, в том числе и мнимые. Да и не нужно. Время сделает свое дело. К тому же война, — а им наверняка придется воевать, — чему-то научит их (я уверен, что война неизбежна, — даже успел приобрести репутацию пророка, предрекающего несчастья. Дай мне Бог ошибиться).

Я люблю своих учеников, даже весьма поверхностных, самой искренней любовью, — может быть, потому, что не могу преподавать, не ощущая глубокой внутренней связи с учеником. Учитель и ученик — тоже звенья в цепи поколений. Меня не огорчает, если ученики не отвечают на мою любовь. Мне хватит и того, что они ценят мои усилия привить им не только основы техники, но и культуру. Не знаю, вырастут ли из них великие скрипачи. Пока рано загадывать. Лучшие все равно пойдут учиться к Розендорфу. Меня это не задевает. Я с удовольствием передам их ему. У меня они получают основы, а Розендорф сделает из них скрипачей.

Я не кривлю душой, когда советую учиться играть и тем ученикам, которые не обладают настоящими способностями. Немного колеблюсь, если родителям трудно платить, но не предлагаю подростку перестать учиться только потому, что он

никогда не сможет стать профессиональным скрипачом, что скрипка не будет для него средством заработка. Насколько могу предвидеть, у всех этих юношей и девушек будет довольно тяжелая жизнь (хотя сейчас происходит некоторый спад напряженности между евреями и арабами, но кровь еще прольется). Некоторые из ребят, занимающихся у меня, пойдут в нотрим²⁵ или проведут несколько лет в отдаленных поселениях, им придется расстаться со скрипкой. Но со временем они помянут меня добром за то, что я довел их до такого уровня, когда они смогут наполнить свою трудную жизнь успокаивающими звуками. Когда-нибудь кто-то из них вытащит скрипку и заиграет на празднике в своем поселке, и эта музыка в захолустье, среди нищеты, будет иметь такую культурную ценность, которую не измеришь совершенством исполнения. Нередко игра культурных, влюбленных в музыку дилетантов не уступает игре профессионалов. Что до меня, я всегда предпочту спотыкание любителей поверхностному блеску профессионалов. Я стараюсь привить своим ученикам любовь к музыке и сознание ответственности, какую они берут на себя, желая приобщить к музыке слушателей. Технические навыки не лишни, но не столь существенны.

Репетиция квартета, кроме всего прочего, также класс, где можно расширить музыкальный кругозор. Не скрою, в этом вопросе я был прилежнее и упорнее своих товарищей. Обсуждение интерпретации для меня — духовное наслаждение. Трудно сказать, что всем членам квартета доставляет удовольствие сам процесс обсуждения. Они обычно ограничиваются короткими практическими замечаниями. Эва фон Штаубенфельд иногда ведет себя просто оскорбительно — прерывает меня на середине фразы, точно требуя от Розендорфа, чтобы он

воспользовался своим правом первого среди равных и решил вопреки моему мнению.

Ее утомляют аргументы, которые я привожу для разъяснения своей позиции: широкий культурный фон эпохи, господствовавшая философия, человеческие отношения и характер общества, которые связаны с тем или иным музыкальным стилем. Она слушает мои доводы, сжав губы, с холодными глазами. Будто все это не относится к делу, будто я просто пытаюсь продемонстрировать свои знания. Иногда я начинаю испытывать ее терпение и нарочно затягиваю свои рассуждения, чтобы научить ее вежливости. До тех пор, пока в глазах Розендорфа, внимательно меня слушающего, не появляется страх перед реакцией фройляйн фон Штаубенфельд, которая умеет оскорбить, не произнося ни слова, — эдак поведет плечом, а то станет сосредоточенно разглядывать свои ногти или инструмент.

Мы стараемся учесть все, даже самые мельчайшие детали: длину смычка, место его приложения, количество волосков, касающихся струны, давление пальцев и тому подобные, казалось бы, технические вопросы, придающие звуку окраску, теплоту или резкость — в зависимости от необходимости. Для меня это важный урок в исполнительском искусстве, но одновременно и возможность заглянуть внутрь души ближнего. В том числе и Эвы фон Штаубенфельд. Ее молчаливость и замкнутость не мешают мне четко видеть знаки, которые она невольно оставляет. Иногда меня поражает тонкость ее вкуса. Совсем без участия рассудка она проникает в самую глубь. Несмотря на всю ее враждебность ко мне, я способен ценить и уважать духовное богатство, впитанное ею с детства. Человек обладает истинными духовными ценностями, когда ему нет нужды допрашивать себя по всякому поводу.

Подлинная добродетель — та, что скрыта от глаз.

Наши споры, которые Розендорф предпочитает мирно называть "консультациями", если их записать, могли бы служить прекрасным руководством для исполнения камерной музыки. Уже сегодня я сожалею, что не записал для почина суть разговоров, начавшихся с первой репетиции, сперва нерешительно, потом все горячее. Каждый вел себя согласно своей натуре: кто приводил доводы, кто старался убедить примером, кто просто упрямылся и хотел "играть так, как чувствует".

Когда буду немного посвободнее, напишу книгу в помощь участникам квартетов — любителям, играющим на достаточно высоком уровне, и даже профессиональным музыкантам. Пусть меня подозревают в нескромности. Я хорошо понимаю, что история нашего противоборства в вопросах музыкальной интерпретации не может стать упорядоченным руководством. Но ведь если мне не удастся написать книгу, подобную записи Устного учения²⁶, где обсуждение подчас завершается вничью, то ее незачем писать. Кто лучше меня знает (хотя у меня часто есть очень определенное мнение и я веду долгую борьбу, чтобы убедить товарищей), что здесь нет и никогда не будет непреложного закона: так следует играть скерцо, так надлежит добиваться согласованности — и точка. Одну и ту же пьесу иногда играют так, а иногда иначе, причем не только в разные исторические эпохи (поскольку наши современники иначе воспринимают дотошность классиков, чем воспринимали ее питомцы романтической школы), и не только два разных камерных ансамбля, отличающиеся друг от друга темпераментом, характером и техническими возможностями, но даже тот же самый ансамбль при двух разных исполнениях одной и той же вещи —

один раз утром, другой вечером. Я понимаю, что последние мои слова, наглядности ради, доводят дело до абсурда, делают концепцию неприемлемой. Всякий музыкант знает, что хотя каждое исполнение отличается от любого другого из-за побочных обстоятельств (в хамсин²⁷ произведение звучит так, а в прохладную погоду иначе, игра при хорошей акустике, подчеркивающей все твои намерения, не та, что в плохом зале), однако он верит, что при всех условиях должен вкладывать душу, чтобы передать ту трактовку, которую избрал. И пусть моя книга, это еще не снесенное яичко, определит связь между такими отклонениями от столбовой дороги исполнения, основанного на преданности установленным для себя правилам, пусть она позволит нам насладиться всевозможными особенностями настроения — нашего, публики, инструмента, даже духа времени. Кроме того, такая книга обогатит неизвестный ансамбль полезными советами, основанными на поучительном опыте нашего квартета, выступающего перед всякой публикой: перед выходцами из Германии — пылкими и придиричвыми почитателями музыки, которые сидят, склонившись над партитурой, прослушав предварительно запись квартета Буша; перед вежливо внимающими фабричными рабочими или перед гимназистами, нетерпеливо ждущими необыкновенных музыкальных трюков, способных разогнать скуку. К тому же нам приходится играть в самых разнообразных условиях — в школах, спортзалах, в кинотеатрах, под открытым небом, в каменоломне или под раскаленной металлической крышей.

Далее. Я придерживаюсь мнения, что если какая-то мелодия переходит от одного инструмента к другому, то все четверо музыкантов не обязаны исполнять ее в одном духе, как это обычно при-

нято. Конечно, есть особая прелесть в повторении мелодии на разной высоте, но я воспринимаю квартет как суть человеческих переживаний, где даже правда не одна и та же, когда исходит от разных людей. Особенно интересует меня случай четырех разных толкований пусть даже самого простого музыкального высказывания, вроде тех квинт, которыми открывает свой квартет Гайдн.

Из-за этого моего мнения у Литовского и фройляйн Штаубенфельд зародилась мысль, что я непостоянен в своих суждениях. Они считают (Литовский высказал это, а фройляйн Штаубенфельд, натирая смычок канифолью, кивнула в знак согласия столь энергично, как способна кивнуть, только если чем-то недовольна), что такая точка зрения не соответствует моей личности. Я запутался в противоречиях, которых не могу примирить. Как можно требовать последовательности во всем остальном — в политике, нравственности, философии, — а тут ни с того ни с сего давать волю чувствам. Ведь если справедливо одно, значит не может быть верно то, что является его прямой противоположностью. Но искусство свободно, даже когда измеряется с предельной точностью. Это — кран парового котла, с помощью которого мы высвобождаем нагнетенные чувства, способные взорвать разогревшийся организм души. В нем действует неуравновешенная система инстинктов и понятий, которые культура пытается упорядочить. Если не открыть выход инстинктам в безопасных рамках искусства, то произойдет взрыв. Музыка — самое своевольное и высокое из искусств. Она рождается из материи, но высвобождается из нее. Даже строгие ее законы — своеволие, она сама установила их для себя, не обязавшись исполнять, это всего лишь препятствия, которые ставятся, чтобы их преодолеть. Музыка

помогает нам защититься от безумия, подстерегающего того, кто открывает бесконечность времени. Музыка разделяет время на отрезки разной длительности. Такие краткие, что они завершаются, прежде чем мы успеем их различить. В напряженном молчании, между двумя переходящими звуками сокрыто спокойствие.

Подсознательно даже нашей Эве знаком, я уверен, экзистенциальный страх, какой испытываешь, вступая в лес, конца которому не видно. Тебе необходимо наметить промежуточные пункты, потому что иначе ты не сделаешь ни единого шагу, страшась, что никогда не дойдешь до следующего... Осознанно Эва не называет вещи своими именами, но внутреннее чувство говорит, что ей, как и мне, знаком страх перед безумием, безотчетный страх перед самым существованием, что она, как и я, хватается за эти звуки, ведущие от часа к часу, от минуты к минуте...

29 хешвана 5698 года

Читаю, то, что написал на прошлой неделе и смеюсь.

Какое право имею я говорить о том, что чувствует фройляйн Штаубенфельд? Чего она страшится и какой ее внутренней потребности отвечает музыка? Мы ведь не обменялись с нею ни единой фразой (кроме одного-единственного случая, когда она спросила меня как здешнего старожила, верно ли, что сейчас опасно ездить за город из-за того, что участились нападения арабов...).

Я слышал кое-какие сплетни, из которых много не узнаешь. Говорят, она еврейка только наполовину, со стороны матери, а со стороны отца принадлежит к знатному прусскому семейству. Ее настоящая фамилия "фон Штаубенфельд", но она

предпочла уничтожить "фон" по соображениям, о которых умалчивает (я возвращаю ей эту приставку, когда она злит меня своей спесью). Марта, жена Литовского, говорит, что фон Штаубенфельд не отец Эвы, а муж, с которым она разошлась. Она бы с удовольствием вообще отказалась от фамилии и всякой памяти об этом человеке — он, видно, пытался вычеркнуть еврейку из своей биографии, чтоб это не помешало его продвижению на самые верхи нацистского рейха. Поскольку же Эве не удалось отказаться от фамилии, указанной в документах, она удовлетворялась тем, что сняла с головы венец, бросив его в пыль, — смирение паче гордости.

Я с трудом верю в эту историю, хотя в ней есть, конечно, и какое-то зерно истины. Мне трудно поверить, что и юнкер, чья семья правила Германией на протяжении нескольких поколений, не может найти способ очистить свою жену от еврейства. Мне трудно представить себе мужчину, имеющего глаза, который согласился бы отказаться от такой впечатляющей женщины, как Эва Штаубенфельд. Мне легче представить короля, отказывающегося от короны ради женитьбы на ней. Я склонен думать, что если Эва рассталась с мужем, то по своей инициативе, потому что он не удовлетворял ее требованиям — "фон" он или не "фон". Но может, все эти рассказы вообще высосаны из пальца. Постоянное молчание нашей альтистки просто подсказывает какую-то волнующую романтическую историю, которая хорошо сочетается с ее великолепной внешностью, с ее таинственным лицом. Марта, немного скучающая оттого, что у нее мало учеников (она дает уроки лечебной физкультуры), занимается секретами своей сдержанной подруги с горячностью, подчас выходящей

за пределы хорошего вкуса, будто какая-то осведомленность о жизни "фройляйн Таинственность" (прозвище, данное Штаубенфельд Бернардом Литовским) повышает ее престиж в кругу местных музыкантов, чьи биографии слишком похожи друг на друга.

И если я позволяю себе сказать, что у фройляйн Штаубенфельд есть какая-то близость к мрачной и безумной стороне человеческих переживаний, то заключение это основано не на знаниях, — я знаю еще меньше товарищей, которые не знают почти ничего, — а на тяготении Эвы к современной музыке, которую даже Розендорфу подчас трудно понять.

Наш репертуар включает в себя пока что только музыку классиков и романтиков. Мы играем главным образом квартеты великих немцев. Ради выходцев из Восточной Европы исполняем также квартеты Бородина, Дворжака и Чайковского — тогда на лице Розендорфа блуждает тонкая ироническая усмешка.

Он нарочно подчеркивает сентиментальный характер славянских мелодий, которые, по его словам, "слишком легко берут за душу". Это как бы примирение с расхожими вкусами, не чуждыми даже публике, слушающей камерную музыку. По просьбе Эвы Штаубенфельд мы в будущем введем в свой репертуар также квартеты Равеля и Дебюсси. Но ни одного действительно современного квартета. Может быть, будем играть "Просветленную ночь" Шенберга — прекрасный романтический секстет, написанный прежде, чем он изобрел свою "систему". В похвалу Розендорфу скажу, что он не оправдывает своего отказа от исполнения современной музыки невежеством публики. Он признает, что это его вина. Хотя ему не

чуждо любопытство к сочинениям наших современников, он еще не уверен, что способен их играть, поскольку это не его музыка. Ему трудно играть произведение, если оно "не говорит с ним на его языке". Он, правда, может играть пьесы Шенберга и Альбана Берга, написанные нотами, с довольно ясными композиторскими указаниями, но опасается, что это будет механическое, ненастоящее исполнение. Розендорф сможет играть такую музыку только тогда, когда она "затронет его душу". Может быть, это недостаток его музыкальной личности, и ему остается только сожалеть об этом, но лучше признаться в таком недостатке, чем делать вид, будто проник в глубины только для того, чтобы "не отставать от времени".

Это проявление интеллектуальной честности, которым не стоит пренебрегать. У Литовского вот нет скромности признаться, что он не понимает современной музыки. По его мнению, эта музыка просто "помешательство" посредственностей, которые готовы на "новаторство любой ценой". Не могут писать, как Брамс, и потому совершенно отрываются от традиций предшественников. В этой бесхозной области, где можно делать что угодно, их не поймают на ошибках. "На такой олимпиаде, где можно прыгать как в голову взбредет, они без труда поставят сколько хочешь рекордов", — говорит Литовский.

В этом вопросе в нашем квартете двое на двое. Это единственная область, где мы с Эвой заодно. Эта музыка, пользуясь определением Розендорфа, говорит с нами на понятном нам языке.

Если бы Эве была свойственна интеллектуальная любознательность, то ее любовь к современной музыке можно было бы объяснить потребностью узнать новое. Молодые люди, наши современники

или старше нас на одно-два поколения (в эпоху таких перемен каждое десятилетие — уже поколение) слышат ритмы времени. А как же мы? Разве у нас уши заложило? Образованный человек не кривит душой, когда просит, чтобы ему еще и еще раз проиграли эти странные звуки, сотворенные нашим безумным веком. В результате повторного прослушивания рождается понимание того, что это не отрыв, а поиск форм выражения, отвечающих нашему времени.

Но ведь Эва не из любознательных. Когда говорят о поэзии или живописи, ей скучно. Если мы разговоримся у дверей, она просто исчезнет, не станет ждать нас, хотя все мы идем домой одной дорогой — на север по улице Элизера Бен-Иехуды, и эта прогулка вместе — почти единственная возможность услышать блестящие остроумия Эгона Левенталя и поговорить о чем-то, кроме музыки.

Отсюда я заключаю, что ее тяга к современной музыке по-настоящему глубока. Я впервые почувствовал это, когда мы заговорили о знаменитых скрипачах. Я сказал, что преклоняюсь перед Йозефом Сигети, и не потому, что он играет лучше всех, — это вообще какое-то мещанство: пытаться классифицировать художников такого уровня, как будто их достижения поддаются измерению, — а за его вклад в развитие современной музыки. Он согласился записать в одной фирме грамзаписи знаменитые скрипичные концерты при условии, что будет записан также Концерт для скрипки Прокофьева.

Литовский слышал имя Прокофьева впервые. А Эва поглядела на меня с изумлением, похожим на симпатию, как смотрят на младенца, сумевшего поставить один кубик на другой.

Тогда у меня мелькнула в мозгу мысль, что заин-

тересованность женщины, в которой нет ни грана интеллектуальной любознательности, в исканиях современных композиторов проистекает из духовной общности с ними. Эва отзывается на современную музыку потому, что музыка эта в резкой форме выражает ее чувства. Она слышит в ней потребность разбить принятые формы, протест против существующего порядка вещей и, не обладая способностью облечь свои чувства в слова, поддается чарам музыки, выражающей распад всех ценностей, всех законов, сбой ритма жизни, смазывание ее образа.

В таких истерических скачках из одной сферы в другую, без мелодической непрерывности, к которой привычно наше ухо, в полном отказе от вопросов и ответов, укорененных в классических мелодиях, есть родство с апокалипсическими предсказаниями. Я слышу в диких ритмах отрицателей формы и единой линии развития биение времени, сошедшего с ума.

Иногда я гляжу на Эву из-за двух пюпитров, и сердце мое сжимается: близкая и далекая сестра, сторонящаяся меня! Мы оба с такой остротой переживаем перемены, происходящие в музыке нашего времени, а она и не знает, что только я понимаю ее. Она одинока — отчуждение окутывает ее точно броня — и не ощущает, что на расстоянии двух шагов от нее брат, который умеет назвать по имени грызущую ее боль и ничего для себя не просит.

Я был бы рад, если бы смог встретиться с нею наедине. Я верю, что если бы мы поговорили однажды по душам, то стали бы закадычными друзьями. Но я не осмеливаюсь обратиться к такой красивой женщине, чьи эмалевые глаза — словно предупреждение об опасности на изгороди, по которой пропущен электрический ток.

Иногда мне кажется, что музыка окружает Эву как высокая стена, а современная музыка, в которой я нахожу так много боли и отчаяния, — осколки стекла на гребне этой стены, чтобы никто не мог взобраться и перелезть через нее.

Мне нельзя влюбляться в Эву. Это будет глупость. Глупость? Опасность для жизни!

15 ава 5698 года

Наконец-то более подробное письмо от отца. Он очень доволен, что я играю в Квартете Розендорфа. Слышал его квартет в предыдущем составе и "испытал колоссальное эстетическое наслаждение".

Впервые он нашел в Эрец-Исраэль нечто положительное. Какая ирония! В Берлине я бы не удостоился чести играть с Розендорфом. Он не понимает, что и здесь есть скрипачи получше меня и что Розендорф взял меня по причинам, которые, возможно, существенны и в Берлине (и это скорее говорит о нем, чем обо мне: личность для него не менее важна, чем технические возможности). Но, может быть, отец все же прав: в Берлине у меня было бы очень мало шансов. Видно, и я из тех, кто должен быть благодарен Гитлеру.

В этом письме впервые нет намеков на несчастья, причиненные отцу детьми, из которых никто не взялся за продолжение его дела: Альфред решил изучать медицину, теперь он в Бостоне; Рут изучала право, и отец надеялся, что она сможет помогать ему, но она вышла замуж за физика, с которым они бежали в Россию. А я, младший из детей, которого он растил один, без жены, так что я перед ним как будто в бóльшем долгу, чем другие дети, ведь он баловал меня и позволял заниматься всем, чем мне хотелось, — я вдруг бежал от него как тать в ночи. Это была самая тяжелая и самая оскор-

бительная для него измена. До сих пор жалею о письмах, что писал ему из Эрец-Исраэль в первые дни ("Что делать, если нет у меня никакого интереса к бумагоделательной промышленности? Бумага начинает интересоваться меня только после того, как на ней напечатаны буквы"). Молодые люди могут быть беспредельно жестокими. Как мог я позволить себе пренебрежение к тому, что было делом всей его жизни! Он создал фабрику на голом месте и мог по праву гордиться делом своих рук. А я с бесчувственным высокомерием, столь характерным для молодежи, уверенной, что мудрость родилась на свет вместе с нею, начал задаваться перед ним. Он, дескать, только о материальном помышляет, а я о духовном... Если, не дай Бог, с ним случится что-нибудь плохое из-за стремления сохранить фабрику, которая ему дороже жизни, я никогда не прощу себе своей грубости.

Сегодня, после того, как мне не удалось сделаться "святым мучеником" (выражение Доры Вольф — любимая женщина может, сама того не ведая, быть жестокой, может, потому, что тут ранит все), сегодня я могу понять его лучше, чем раньше. Могу понять его гордость материальными достижениями, честностью порядочного предпринимателя и величиной кредита, который он получает от банка. Но в нашей семье, боюсь, не столько музыка уничтожила бюргерское наследие, как в доме Будденброков, и не чрезмерная тонкость потомков, а простая тевтонская грубость. Для моего отца величайшее чудо нашего времени — это евреи, способные создать собственное дело и конкурировать с людьми, которые представляют собой уже третье поколение предпринимателей после промышленной революции, за которыми стоят капитал, и связи, и профессиональный опыт, и что угодно еще.

Чем больше я об этом размышляю, тем больше меня поражает бесчувственность, выразившаяся в моем ответе отцу. Не подобает это человеку, повседневно занимающемуся пробуждением чувств.

Вчера вечером был в кино. В киножурнале показывали парад немецкой молодежи. Знакомые лица. Я видел этих ребят в школе и на улице. Некоторые весьма симпатичны, даже в марширующих колоннах, несмотря на выпяченную грудь и выставленный вперед подбородок. Они не обязательно грубияны или идиоты, как хотят представить их за границей, и потому-то они кажутся мне столь опасными. Молодые люди, пропитанные благородными чувствами, способны на страшные жестокости. Они хотят во что бы то ни стало выйти за пределы своего "я".

Сравнивая себя с ними, я нахожу, что исток моей бесчувственности по отношению к отцу — уверенность в своей исторической правоте.

Нацисты тоже верят в это. Бесчувственность вызывает у меня огромный безысходный страх. Она может породить жестокость. А жестокость — страшная вещь.

Молодежи свойственно стремление выйти за пределы человеческого. Любыми путями. Отважные поступки. Наркотики. Вдохновение. Могу представить себе и такую чудовищную идею: проявляя жестокость, человек тоже доходит до этих границ. Толстой, специально пошедший в Париже посмотреть на казнь, хотел тем самым расширить границы своего мира²⁸. Левенталь обычно воздерживается от рассказов о своем личном опыте в Дахау, но однажды у него вырвалась такая фраза: молодые люди, участвующие в допросах с пытками, верят, что делают это для закалки своего характера. Они приходят заглянуть в свои кошмары.

Хотят увидеть, что есть там, за пределами человеческого страдания. Интеллектуальная любознательность может породить беспощадное зло. Быть может, поэтому война очаровывает слабых людей, которые не способны осуществлять свои мрачные вожеления иначе, как с разрешения вышестоящих.

В письме отец упоминает также компаньона, которого принял по доброй воле, — его друг с молодых лет, вступивший в партию по конъюнктурным соображениям. Он надеется, что фабрика снова перейдет к нему, когда власть переменится. Что за иллюзия! Они с его наивным другом думают, что смогут провести нацистов.

2 адара 5698 года

На концертах я играю хорошо. Владение правой рукой, которая у меня слабее левой, совершенствуется на удивление. Замечательная крепость появляется в пальцах. Никакими упражнениями этого не добьешься. Только неослабевающая любовь к нам публики способна вызвать такое.

Я должен не обмануть ожиданий наших поклонников. Раз предложил им покупать билеты на концерт, значит обязан дать им час, когда они смогут возвыситься душой. Розендорф говорит, что на наш организм действует химия. В момент напряжения, как и при страхе, в организме выделяется адреналин. Напряжение всех сил во время концерта похоже на реакцию организма на опасность.

Я предпочитаю верить, что именно чувство ответственности заставляет нас выжимать из себя все возможное. Если публика верит, что мы в силах взмахом смычка перенести ее в другой мир, — наш долг не подвести.

— Вы неисправимый романтик, — говорит Розендорф. — Концерт это нечто совсем иное. Ты

приглашаешь людей заглянуть в твою лабораторию. А опыт, может, и не удастся.

Даже страх перед публикой, из-за которого я смирился с долей оркестранта, покидает меня во время выступлений квартета.

— Квартет создал из меня новую личность, — сказал я Эгону Левенталю. Он слушал меня серьезно, как исповедник, опасаящийся, что его поспешная реакция с примесью будничности может развеять очарование исповеди. Потом, наверное, записал это для себя.

Публика нас любит. И критики тоже. "Палестайн пост" не скупится на похвалы. "Мы сделали огромный скачок к Европе", — так отозвалась газета на наше выступление. Сноб, написавший эту рецензию, — да простится мне, что отвечаю злом на добро, — не знает, что "Европа" более не существует и уже не восстанет из пепла...

Публика валит на наши концерты всюду — в Тель-Авиве, в Иерусалиме, в сельских поселках. Играть в Тель-Авиве нам очень удобно, но я предпочитаю Иерусалим, — может быть, из-за особой публики — она является на концерт принаряженная, как на официальные церемонии. Там видишь и служащих Сохнута, усвоивших привычки дипломатов, и британских офицеров в щегольских мундирах, и священников в таинственных мантиях, и арабских эффенди в вечерних костюмах английского сукна с клетчатыми кафиями²⁹ на голове. Литовский шутит: пришли будто для того, чтобы подписать соглашение о прекращении огня на один вечер. Да и сам зал в прекрасном здании с высокими арками из иерусалимского камня³⁰ придает концерту какую-то торжественность. Отчасти из-за акустики, но главным образом потому, что он, словно часовня, пропитан звуками прошлого. Кон-

церт камерной музыки здесь походит на молебен о мире между народами. Как прекрасно сочетается с обстановкой мрачная серьезность поздних кватетов Бетховена и как вдруг кажется не к месту "Американская" Дворжака, опус 96, где легкомыслием веет даже от второй, такой лирической части!

В Иерусалиме мы удостоились особой чести. Верховный комиссар собственной персоной явился за кулисы приветствовать нас. Один из служащих Сохнута вертелся вокруг, точно импресарио, и представлял нас верховному комиссару, бесстыдно перевирая наши имена. Меня он назвал Леонардом Фридманом, а в имени Эвы изменил несколько букв и вышло "Штауфенберг".

Один из знатных арабов — известный врач — пригласил нас в Бейрут, причем уже уладил все формальности с тамошним французским губернатором. Это старый знакомый Розендорфа, они познакомились на пароходе по пути сюда. Обнаружив, что я могу немного болтать по-арабски (мои жалкие познания произвели на него огромное впечатление), он так расчувствовался, что предоставил в наше распоряжение свой лимузин и несколько часов возил нас по тем районам Иерусалима, где евреи не осмеливаются гулять, несмотря на нынешнее относительное затишье.

Нам улыбается успех. Широкая публика любила нас, и в некотором смысле мы действительно как бы посланцы доброй воли. У музыкантов мы тоже пользуемся признанием. В Эрец-Исраэль не бывало еще такого отличного камерного ансамбля, как наш. Одна женщина, у которой большие связи в Англии, всеми силами старается организовать нам турне в Лондон. И все же нет такого места, куда бы я ехал с большей радостью, чем в деревню.

Там, в столовой бедного киббуца или в народном

доме какого-нибудь мошава³¹, где собираются до смерти усталые люди, с покрасневшими веками, где, случается, напряженную тишину нарушает мычание коровы или лай собаки, разом разрушающие волшебство музыки, — там и только там я чувствую, что делаю святое дело (я не забыл замечания отца). Нам выпала честь — дать этим честным людям минуту музыки, чтобы на фоне ее звуков они смогли заглянуть в свои души, а это для меня дороже всех аплодисментов восторженной публики в других местах.

Там я ненадолго освобождаюсь от чувства вины несостоявшегося халуца, от ощущения, что сделал для себя больше, чем для своего народа (формулировка доктора Манфреда, убеждавшего меня "идти своим путем", безо всякого стыда, ибо, согласно разумным принципам распределения общественного труда, легче найти мне замену в коровнике, чем в оркестре, где каждый человек с "глубокими корнями" особенно важен). Уже по дороге в поселение, где все-таки может подстерегать опасность, я ощущаю в себе какую-то силу.

Не раз я замечал, что товарищи по квартету не так уж рады, когда я организую нам концерт в деревне.

"Фридман не успокоится, пока мы не попадем под обстрел", — говорит Розендорф, и за его иронией прячется простой страх, но он все же не отвергает ни одного захолустного поселения, где экономят по грошам, чтобы заплатить нам. Да и гонорар-то, по правде сказать, символический.

Но в нас пока не стреляли. Поселения, приглашающие нас к себе, принимают все необходимые меры. Они не приглашают нас, если на дорогах небезопасно. Но мне, право, трудно лишать товарищей романтического ореола. Они гордятся тем,

что мы — единственный в мире квартет, разъезжающий в бронированном автомобиле с полицейским конвоем. Розендорф был бы рад, если бы я немного поумерил инициативу и не столь активно использовал свои связи с музыкантами, работающими в системе рабочих поселений³², которые заставляют комиссии по культуре приглашать нас.

Союзника в этом вопросе я неожиданно нашел в Бернаде Литовском; он хоть и не проявляет теплоты по отношению к рабочим поселениям ("Сажают один хилый саженец и устраивают шум на весь мир"), но любит поездки за город и обмен шутками с нотрим, которые стараются припугнуть нас, чтобы мы восхищались их мужеством. Перед сельской публикой Литовский позволяет себе всевозможное кривлянье и ужимки, которых не позволил бы себе в концертном зале. Мне кажется, что особое удовольствие доставляет ему сам факт, что он уезжает из дому и может позволить себе легкий флирт с красивыми девушками, хотя он и в городе пользуется всей свободой, которой может наслаждаться мужчина, женатый на образованной современной женщине, самостоятельной и свободной от предрассудков.

Правда, Литовский, как Эва и, к сожалению, как Розендорф, полагает, что такие концерты — жест доброй воли с нашей стороны и что они не приносят нам никакой пользы как квартету. Не эта деревенщина наша публика, не на них надо строить будущее.

— Квартет не расширяет круг своих слушателей, — сказала Эва, — если тратит час или два дорогого времени на поездку, чтобы играть Дворжака или Чайковского перед дюжиной-двумя скучающих крестьян, которых не приучили даже прикрывать рот ладонью, когда они зевают.

Боюсь, мне так и не удастся убедить товарищей в том, что союз между нами и этими "скучающими крестьянами" — особая ценность, что он каким-то образом — мне трудно это объяснить — существенно влияет на формирование характера всего еврейского ишува³³. Эти вопросы выходят за рамки их понимания и потому кажутся им смешными. Что общего между музыкой Шуберта или Брамса и самосознанием выходцев из Польши и Галиции, сражающихся здесь с ивритом? Что общего между музыкой Моцарта или Бетховена и осознанием своей внутренней ценности у этих полуинтеллигентов, которым необходимо собрать воедино все духовные силы для "завоевания физического труда"³⁴ и освоения жизненно важных профессий? Ведь если мы не привьем им снобистских мыслей, например, что без классической музыки им будет чего-то недоставать, то они смогут со спокойной совестью развивать начатки культуры, вынесенные из дому, им не придется разрываться, чтобы возвыситься до состояния истинно культурных людей. К чему тратить время на то, чтобы дремать под звуки камерной музыки?

Мы не говорим о таких материях. Мы не формулируем подобных мыслей. Те воззрения, которые я сейчас обрисовал, основываются лишь на случайных замечаниях и непосредственных реакциях. Глядя на выражение лица Розендорфа, на котором ирония сменяется скукой, когда он внимает какому-нибудь слушателю (тот, ухватив Розендорфа за лацкан пиджака, заставляет маэстро выслушивать свои рассуждения о музыке, а все его музыкальные познания сводятся к Неоконченной симфонии Шуберта и тарантелле, которую исполнял Иозеф Шмит во время последнего своего приезда в Палестину), я понимаю, что у меня нет никаких шансов

убедить Розендорфа, что во время этой случайной и не имеющей, по видимости, никакого значения встречи с накиннувшимся на него человеком, жаждущим культуры, происходит нечто, способное наложить отпечаток на еврейскую деревню, которая будет отличаться от всех деревень, известных нам по Германии и прочим европейским странам. Нечто такое, без чего нет никакой возможности претворить в жизни мечту о том, чтобы стать свободным народом в своей стране, в земле Сиона³⁵, где каждая деревня — Иерусалим. Но может быть, все это лишь мечты, никак не связанные с действительностью.

Я не настолько сдурел, чтобы делиться такими мечтами с Эвой Штаубенфельд, у которой, боюсь, нет даже необходимого словарного запаса, чтобы об этом размышлять. Достаточно мне увидеть Эву в озорном настроении, которое нападает на нее в деревне, и я сразу понимаю, что нет смысла даже пытаться пробуждать в ней уважение к этим заносчивым "крестьянам", старающимся понравиться нам, ради чего они сыплют поверхностными суждениями о музыке, а иногда говорят откровенные глупости. Эва настолько замкнулась в сознании своего превосходства, что вообще не чувствует, как ее иронические замечания переходят границы вежливости. В одном киббуце в Эмек-Хефер я впервые увидел, как она выходит из себя, чтобы развеселить любителей музыки, окруживших ее в перерыве, — как потом выяснилось, потому, что там было трое выходцев из Кенигсберга. Безвкусные ее шутки казались тяжеловесными, как попытки сына аристократических родителей повеселиться в кабачке в обществе извозчиков и рабочих. Потом она ошеломила их виртуозными трюками, играя "Каприччио" Паганини. Она даже позволила новым приятелям заглянуть себе за ворот блузки и ухмылялась, видя

их смущение. Как будто в деревне в обществе невежественных крестьян нет необходимости соблюдать сдержанную серьезность, охраняющую ее от ухаживаний людей своего круга. Она даже рассмеялась несколько раз, так все вокруг показалось ей странно и потешно: уборная, где приходится присесть над открытой ямой, варенье, в котором плавают тельца ос, горячие алюминиевые кружки и матрац, из которого торчат соломинки. Словно белая женщина среди дикарей.

Одно можно было поставить ей в заслугу — ничто не нарушало ее чисто спортивной невозмутимости: ни свет, погасший в середине концерта, ни мотор, затарахтевший где-то неподалеку, ни длинная высокопарная речь на иврите (которой она не могла понять) секретаря киббуца по культурной работе, очевидно, желавшего закрепить в ее памяти свою ладную фигуру в галифе и сапогах. Она все время шутила, как будто взяла отпуск от себя самой. Когда у нее случайно вырвался непристойный намек, какого нам никогда не приходилось слышать, Розендорф остолбенел. В ней вдруг обнаружился едкий юмор, в котором она, видимо, не нуждалась в другом месте. Она предложила сыграть "на бис" Большую фугу Бетховена. Ее резкий взгляд вперился в меня как бы с вызовом — а ты на это способен? Ведь я же предложил играть "Серьезный квартет" Бетховена, опус 95, вместо "Итальянской серенады" Гуго Вольфа!

— Ваши подруги, — сказала она мне, — получили огромное удовольствие от нашего концерта. Они успели связать целый рукав.

Точно ожог стыда, помню свое молчание. Я словно отрекся от моей любимой Доры и улыбнулся Эве так, как будто был рад, что она не забыла посмеяться и надо мной.

После вторжения в Австрию. Сбываются все самые жуткие опасения. Плебисцит отсрочен³⁶. Фон Шушнинг³⁷ объявил о своей отставке в патетическом обращении к народу: "Да хранит Господь Австрию!" Доктор Зейсс-Инкварт назначен канцлером. Австрийские евреи в тревоге. Быть может, сейчас хотя бы возрастут шансы Леона Блюма сформировать правительство во Франции? Быть может, западные державы поймут, что остановить Гитлера можно только силой оружия?

Трудно даже писать об этом. Разве я тоже хочу войны? Ведь если начнется война, судьба отца будет решена.

Если б он прозрел хоть теперь! Но я совсем не уверен, что он не говорит себе: "Все-таки в исторической перспективе это положительное явление. Разве есть у Австрии право на существование? Какая есть в ней культура, кроме немецкой?"

Мир меняется у нас на глазах ежедневно, но после обеда я пойду к Литовскому, в дом на улице Ховевей-Цион³⁸, как будто ничего не произошло. Будем играть Шуберта и Брамса, как играли их до нас Иоахим, Крейслер и Буш. И быть может, не станем даже оплакивать падения Австрии. Эва, конечно, будет подгонять — скорее за репетицию. Каждая минута, когда мы разговариваем, а не играем, — потеря времени. Если мы не прекратим разговор, она возьмет свой альт и начнет играть пассажи, пока мы не поймем намека.

Я был в Вене только раз, по дороге в Эрец-Исраэль. Провел там три дня, но у меня осталось множество воспоминаний. Теперь в голове у меня теснятся мелодии Малера. Отец говорил, что он декадент. Презрительное отношение людей вроде отца к такому музыканту, как Малер, отдает антисемитизмом: еврей, не умеющий себя вести.

19 нисана 5698 года

Вчера прочел в газете, что Вилли Гринфельд был убит выстрелом из засады и умер по дороге в больницу. Я расплакался и долго не мог успокоиться. Друзей у меня немного, и хотя с Вилли мы встречались редко, я считал его близким другом.

Мы познакомились с ним на одном из наших первых концертов в рабочих поселениях. Мы застряли там на субботу, потому что прошел слух, будто на дороге, ведущей из киббуца к шоссе, подложена мина.

Субботнее утро мы посвятили репетиции.

В наше распоряжение был отдан школьный класс, где стояло старое пианино. Сидя на детских низеньких стульчиках, мы работали над Квартетом Брамса. Кто-то заглянул в класс и спросил, можно ли послушать. Мы разрешили и забыли про незнакомца. Внешность его была непримечательной: худой, неопределенного возраста, с печальными глазами и поредевшими волосами. Если человеку хочется слушать репетицию, когда произведение проигрывается не целиком, а по кускам, нам все равно.

Он долго сидел молча и раскрыл рот, только чтобы предложить нам чаю, который тут же принес из кухни, где готовили детям. Но когда между нами разгорелся спор об интерпретации, незнакомец попросил слова и поразил нас своими познаниями.

— Относительно этого важного вопроса Брамс выразил свое мнение в письме Кларе Шуман, — произнес он с немного смешной торжественностью. — Вероятно, не следует считать его мнение безусловно обязательным, это не Святое писание, но оно все же существенно для понимания его собственного произведения.

Чуть позже незнакомец продемонстрировал свой вкус и в вопросе темпа.

На лице Литовского явно читалось: наглый тип! Но Розендорф был очарован:

— Вы тоже играете? — спросил он.

— Немного, — ответил тот, — на пианино, правда, в последнее время я играл очень мало. Я работаю на плантации цитрусовых, а это тяжелая работа.

— Не согласитесь ли вы поиграть с нами? — спросил Литовский. В глазах его была усмешка — поставил соблазнительный капкан для дурака: начав с советов, этот тип наверняка пожелает учить нас исполнять камерную музыку.

— Буду очень рад, — ответил незнакомец, нимало не смутившись.

— Но у нас нет нот для квинтета, — с издевкой произнес Литовский.

— У меня наверняка что-нибудь найдется, — улыбнулся тот. — Но я не представился: Вилли Сде-Ярок (в прошлом Гринфельд, догадались мы³⁹). Только на поиски потребуется время, придется порыться в ящиках.

— Мы обещаем пока потренироваться, — сказал Литовский.

Вилли, наивный как ребенок, не обиделся:

— Постараюсь вернуться побыстрее, — пообещал он.

Я покраснел, точно грубость Литовского была направлена и против меня.

Вилли вернулся примерно через полчаса с запятой связкой нот — Квинтетом Брамса — и уселся за пианино.

Я опасался, что наша маленькая шутка переходит пределы хорошего тона: Квинтет Брамса — вещь технически трудная, и мне не хотелось смотреть, как этот бедняга будет ломать на ней пальцы.

Розендорф с обычным своим тактом попытался

выйти из затруднения:

— Попробуем одну часть, — мягко сказал он, — пожалуй, вторую. Если мы увидим, что слишком трудно, оставим эту затею.

— Если уж так, то первую, — сказал Вилли и поднял свои исцарапанные пальцы над клавиатурой, готовый начать. Его возбуждение растрогало всех нас. Даже Литовский перестал посмеиваться над ним.

— Быть может, стоит начать в медленном темпе, я едва знаком с этим произведением, здесь много диезов, — сказал Литовский, словно беря на себя ответственность за неудачу.

— Жаль, — сказал Вилли. — В медленном темпе эта часть потеряет всю свою силу и решительность.

Краешком глаза я уловил насмешку в холодном взгляде Эвы.

Но вскоре стало не до насмешек. Вилли увлек нас, и мы сыграли всю первую часть с большим подъемом в головокружительном темпе. Ошеломленные, поглядывали мы друг на друга, на сияющее лицо счастливого пианиста, уже приготовившегося играть и вторую часть, — подарок, который он вполне заслужил.

— Но вы прекрасный пианист, — не мог больше сдерживаться Розендорф.

— Не стоит преувеличивать, — возразил Вилли. — Когда я расхожусь, я еще кое-как справляюсь, но с тех пор, как перестал заниматься, я сильно сдал.

Мы доиграли квинтет до конца. Вилли был в восторге.

— Я не верил, что мне придется когда-нибудь играть эту чудесную вещь, — сказал он.

Он играл, читая с листа!

Розендорф не мог успокоиться. Как такому че-

ловеку позволяют губить талант на тяжелой физической работе? Ведь таких пианистов, как он, один на город, на страну — раз, два и обчелся.

На обветренных губах Вилли порхала на удивление детская улыбка:

— Почему губить? Я давно отказался от фортепьяно. Чтобы не стать его рабом. Лучше заниматься тем, что доставляет мне большее удовлетворение.

— Вам нельзя отказываться от музыки! — упрекнул его Розендорф.

И тогда Вилли признался, что он не отказался от музыки. Просто он предпочитает сочинять ее, а не исполнять.

Потом Вилли повел нас в упаковочный цех, находившийся на краю плантации цитрусовых за ограждением из колючей проволоки, окружавшим усадьбу киббуца. Там он показал нам свои сокровища. Рояль, уже давно нуждающийся в настройке; деревянный пюпитр для нот, на котором висела рабочая куртка; ящики из-под фруктов, где хранились ноты, книги, одежда и обувь; постель, на которой развалилась огромная дружелюбная овчарка; контрабас, два кларнета, детская скрипка, груда партитур, охотничье ружье, бюст Бетховена, метроном, много пар носков, овчина, а также изрядное количество бумаги — меньшая ее часть чистая, а большая — исписанная мелкими кривыми нотными значками.

— Это вы написали? — спросила Эва и, усевшись возле рояля, принялась разбирать черновики.

Теперь настала ее очередь удивляться.

— Это очень интересно написано, — сказала она, — захватывающая музыка, — пальцы ее сами собой пробегали взад и вперед по клавишам, пока не остановились, чтобы расшифровать неясный кусок. В тот миг я позавидовал ей: современная музыка воспринимается ею как единый поток. Переходы,

где нарушается принятая последовательность изложения темы, выходят из-под ее пальцев естественно, будто никаких умственных усилий не было положено на то, чтобы сделать их отличными от тех приемов, к которым привыкло наше ухо.

— И удивительно, есть мелодия и есть гармония, есть что слышать, — сказал Розендорф, — а перерывы не дольше, чем в той музыке...

— Это просто упражнения, — с сожалением произнес Вилли. — Импровизации на народные темы. Опыты. И не столь уж оригинальные... То есть, концепция, основная идея и даже система — немного от Бартока, немного от Кодаи... этим отрывком гордиться не приходится... но есть и более оформленные отрывки... с попытками почерпнуть темы из наших источников...

Стоя, мы выслушали (даже Литовский не высказывал нетерпения) длинную лекцию об истоках вдохновения национальной культуры. Для Вилли истинная мука, что он оторван от этих истоков. Те "упражнения", которые так привлекли нас, он считает собственным произведением "в полном смысле слова", поскольку они основаны на народной немецкой песне, единственной, которую "впитал он с молоком матери" в маленьком местечке неподалеку от Вюрцбурга. Каждый год во время отпуска, предоставляемого киббуцом, он ездит по городам и мошавам Эрец-Исраэль, посещает синагоги и мечети, записывает йеменские, бухарские, грузинские и арабские мелодии, надеясь, что если впитает мотивы, родившиеся в восточном климате, то сможет "вырастить" свою музыку из "древнееврейских корней". Он делает это с воодушевлением, но внутренний голос говорит ему, что есть нечто искусственное в такой пристрастии человека, душа которого полна Шубертом и Брамсом, к персидским

мелодиям, ведь если бы он не слышал в них голосов прошлого, то вообще ничего не нашел бы в них. Эта музыка не "струится" из него, как слезы или смех. Он навязывает ее себе, чтобы оторваться от "немецких корней". Природное чувство говорит ему, что музыка, в которой нет стихийной основы, пусть она даже весьма остроумна, даже "захватывает", как сказала Эва, все же никогда, видимо, не сможет заполнить в нашей душе того места, где живет глубокая потребность "вернуться в материнскую утробу", "прислушаться изнутри к биению материнского сердца".

Было уже поздно, когда мы ушли из пристанища Вилли. Он не находил слов, чтобы выразить извинения за то, что из-за его "болтовни" мы проворонили обед: ему так редко встречается общество музыкантов, с которыми можно поделиться своими идеями, сказал он, весь красный от смущения. Он просто умолял понять его и не судить слишком строго. Он живет в маленьком киббуце, все члены которого уже успели выслушать его "речь". А идеи, если их не испытывать на скептическом слушателе, в конце концов, как известно, отрываются от действительности и начинают вариться "в собственном соку".

Наконец дорогу открыли, и мы отправились в близлежащее поселение, откуда идет автобус в Тель-Авив, но никак не могли забыть человека, который столь сокрушался оттого, что "украл у нас время". Мы наперебой, словно соревнуясь, хвалили его. Какая изумительная беглость — и это пальцы крестьянина! ("Не то, что ваша пианистка из коровника. Ему физический труд ни капли не повредил", — сказал Розендорф.) И какое быстрое восприятие! ("Квинтет Брамса при чтении с листа и без единой ошибки, а ведь фортепьяно не

виолончель”, — сказал Литовский.) А его захватывающая музыка (Эва вернулась к определению, которое пришлось ей по вкусу)! И какие знания в музыкальной литературе всех эпох!

Розендорф разволновался больше нас всех:

— Страшно подумать, что этот человек похоронен на плантации и живет там в таком одиночестве среди людей, не способных оценить его таланты...

Я сделал слабую попытку оспорить выражение “похоронен”:

— Киббуц для него то место, где он может предаваться своему “сумасшествию” без помех.

Розендорф ответил резко. Впервые слышал я, как он с большой уверенностью высказывался по вопросу, которым обычно не интересовался. Он ненавидит любую идеологию. Не предполагал я, что у него такие определенные воззрения.

— Это духовная жестокость — вбить в голову ни в чем неповинному человеку, что стоит ему перестать подрезать деревья, как он начнет злоупотреблять доверием своего киббуца. Вожди устроили ему особого рода промывку мозгов, а сами отправились в Лондон вершить политику... Этот бедняга верит, что редкие таланты вождей освобождают их от долга работать на плантации, а если он ограничится музыкой, то станет паразитом. Слава Богу, что он еще согласен писать музыку в свободное время. В таком фанатичном обществе его, несомненно, убедят, что и это пустая трата сил. Сочинять надо песни о родине для детского сада.

Я невольно вступил в спор. Изложил свою позицию. Рабочие поселения не выживут, если там будут только посредственности. Рассказал кое-что из того, что знал об идее киббуца. Розендорф говорил со мной как с человеком, который повредился умом.

— Все, что ты говоришь (только настоящее раздражение может заставить его обратиться ко мне на "ты"), — мило и прекрасно, и я желаю им удачи, хотя я и сомневаюсь, что им удастся создать образцовое общество, о котором они рассуждают. Никто не убедит меня, что можно взять такого человека и задушить его в заброшенном упаковочном цехе.

Потом Розендорф заявил, что не будет знать ни минуты покоя, пока не вытащит Вилли оттуда.

— И чем скорее, тем лучше, — сказал Литовский, — покуда его йеменские корни еще не глубоки...

Встреча с Вилли оставила во мне тяжелое чувство разочарования в себе. По сравнению с ним я — посредственный музыкант, бесстыдно использующий свои способности.

Розендорф не успокоился, но ему не удалось вырвать Вилли с цитрусовой плантации. А может, он не так уж старался после того, как остыло воодушевление первых дней. Но все же Вилли навсегда остался с нами. Эва больше не относилась к киббуцникам как привыкла относиться к "безмозглым немецким крестьянам". В каждом новом месте, куда мы приезжали, она произносила фразу, понятную лишь нам четверым: "Интересно, кто здесь местный Вилли", или: "Мне кажется, я вижу там какого-то Вилли во втором ряду слева".

А то ошарашивала очередного секретаря по культуре: "Не забудьте сказать Вилли, чтобы подошел к нам после концерта". Дурень Литовский катался от смеха, когда секретарь в растерянности отвечал: "У нас нет никакого Вилли".

Да будет благословенна его память.

5 ияра 5698 года

"Если бы не квартет, мне не удалось бы близко познакомиться с Эгоном Левенталем", — написал

я отцу, намекая, что не переселился из культурной страны в пустыню.

Я всегда восхищался стилем Левенталья, его ясным, прозрачным языком. Он словно мимоходом дотрагивается до корня вещей. Я готов перечитывать его снова и снова. У меня такое чувство, будто он прячет в своих книгах сокровища для тех, кто умеет их искать.

С юношеским волнением глядел я на Левенталья, когда он впервые пришел в дом Литовского. Меня поразило, до чего похож он на моего отца. Небольшого роста, с поредевшими волосами, глаза одновременно глядят и внутрь себя и вокруг. Даже манера держать тарелочку с пирогом близко ко рту, отрезая от пирога маленькие ломтики и разминая их вилочкой перед тем, как осторожно поднести ко рту (так едят люди, привыкшие вполне сосредоточиваться на исполняемом деле, даже если оно совсем незначительное). И золотые очки Левенталья в круглой оправе похожи на отцовские. Может быть, поэтому я и не удивился, когда из его хрупкого горла полился голос моего отца — тонкий, певучий и очень тихий, как будто обращался он только к тому, кто готов был к нему прислушаться.

Я написал отцу, что нашел черты сходства между ним и Эгоном Левенталем.

Он ответил иронически: для него, дескать, большая честь быть похожим на именитого писателя. Правда, когда Левенталь эмигрировал из Германии, с ним вместе отправилась в изгнание и немецкая литература, а вот он может уехать лишь с пустыми руками. Счастлив, кто наделен даром слова, — он кладет перо в карман пиджака и переезжает куда захочет. А тот, кто умел лишь создать фабрику, не может двинуться с места, где обретається его капитал.

Даже стиль отца немного напоминает левенталевский, особенно, когда он прибегает к иронии.

Пока мы не начали переписываться, я почти не знал отца. Я взбунтовался против него, считая, что он "погружен в материальные заботы". После того, как умерла мама и я поехал учиться в Берлин, мы встречались только во время каникул. Редкие письма, которыми мы обменивались, касались лишь практических дел: я писал отцу о здоровье, о нехватке средств, а он посылал мне деньги, присовокупляя добрые советы насчет того, как их экономить. На важные вопросы в наших скромных письмах не оставалось места.

Мы сблизились только после того, как я переехал в Эрец-Исраэль. С быющим сердцем читаю я теперь его письма, написанные прекрасной, пропитанной юмором прозой. Из этих писем я узнал в характере отца то, что оставалось мне неизвестным, понял, как широко он образован, — письма его изобилуют цитатами из лучших произведений немецкой литературы. Даже в музыке, как стало мне теперь ясно, познания отца были шире, чем я думал. Этот еврей, певший для души в церковном хоре, не просто тенор-любитель, на которого мне, с высоты моего высшего образования, можно вроде бы, глядеть сверху вниз, — он музыкант с тонким вкусом и редкими познаниями, каких не сыщешь у дилетантов. Иногда я думаю: душевная потребность уйти из профессиональной сферы и примкнуть к любителям вытекает у меня из затаенного чувства вины перед отцом. Я позволял себе глядеть на него свысока вместо того, чтобы учиться у него. Теперь я уже не усматриваю в качествах, вызывающих у отца почтение, — таких, как образцовая честность, порядочность коммерсанта в деловых вопросах, бережливость, точность,

безукоризненная аккуратность в одежде и приверженность к чистоте языка — некоей разновидности конформизма, продиктованной желанием понравиться гоям⁴⁰. Я уже не скажу больше, что эти высокие качества, впитанные отцом, ставшие его плотью и кровью, — всего лишь "приманка", с помощью которой высший класс старается привлечь к себе средний, чтобы обуздать его стремления. Я уже тысячу раз мысленно просил у отца прощения за былое пренебрежение к нему.

Только в одном вопросе нас разделяют разногласия, и компромисс невозможен: Шиват-Цион⁴¹ означает для отца возвращение к духовному Сиону, а попытка сионистов создать реальную еврейскую жизнь в Эрец-Исраэль — это, по его мнению, самая серьезная ошибка нашего поколения. В последнее время он вернулся в синагогу, куда многие годы не ступала его нога, и покаялся в своем грехе — что послал меня в христианскую школу ради расширения образования. Я стараюсь убедить его, что у евреев нет будущего ни в каком месте на земле, если у них не будет своего собственного места под солнцем. Мы спорим очень вежливо, не употребляя резких и обидных слов, но каждый остается при своем мнении.

Однако я не отношусь свысока к мечтам служащего торговой фирмы о собственном деле. Я краснею от стыда, вспоминая, как сказал отцу: "Твои идеалы не выше фабричной трубы". Ему очень тяжело было снести такую грубость, но он простил меня. А мама не могла этого забыть. "Это же нож в спину", — говорила она мне. Для отца экономическая независимость была Землей обетованной. "Тот, кто добился экономической независимости, становится культурным человеком", — любил он повторять. Как хозяин фабрики он мог на прак-

тике применить свое прилежание, проявить свою щедрость и природное упорство и даже отстаивать культ "качества товара", которое являлось для него особой ценностью. Возможно, как многие евреи, он мечтал, став хозяином, распоряжаться другими вежливо, с улыбкой на губах, уважительно относиться к подчиненным.

Душа болит при мысли, что мечта его была грубо разбита, когда до нее уже оставалось рукой подать. Та самая "культура", которую он мечтал смягчить, личным примером показывая, что значит быть "добрым хозяином", дала ему в ответ звонкую пощечину.

Сердце кровью обливается, когда подумаю о его отчаянии. В письмах своих отец примирен с действительностью, как стоик, сознательно проходящий через тяжелые испытания, чтобы извлечь из них урок. Теперь у него не хватает средств даже на короткую поездку в Эрец-Исраэль. Он был слишком порядочен, чтобы незаконно переводить капитал за границу, а "получать жалкие гроши" из моих рук не согласен.

Во всяком случае, переезжать он не хочет. Должно быть, полагает, что Гитлер только гной на застарелой ране, который исчезнет, когда рана зарубцуется. Мне трудно поверить, что он все еще думает так. Возможно, боится перемен или разочарования. Мои письма становятся все настойчивее. Может, это на него подействует. Отец же пытается убедить меня, что все не так уж страшно. Покуда у человека есть хлеб, одежда, кров над головой и хоть один настоящий друг, надежду терять нельзя.

Я стараюсь, не обижая его, заронить в нем сознание, что он должен приехать сюда, чтобы спасти свою жизнь. Он наверняка улыбается про себя. Я здесь, а он там — неужто я вижу лучше его?

Бесконечный спор. Победит, видно, тот, кто будет стоять на своем. Я упрямей его. Я его сын. И может быть, по моему упрямству он поймет, как он мне дорог.

6 ияра 5698 года

Смотрю на Левенталья и вижу отца. И Левенталь тоже человек честолюбивый и одновременно скромный. Улыбка на его лице за миг до того, как он заговорит, словно предупреждает: я знаю, что могу обворожить вас своей речью и потому скажу меньше, чем собирался сказать. Только тот, кто воздерживается от использования своего влияния, сохраняет его. А о чем я не скажу — догадайтесь. Догадка — это ваше творчество. Можете быть мне благодарны за то, что я сделал вас соучастниками, а не слепыми приверженцами.

”Я сяду подальше и послушаю”, — сказал Левенталь в первый свой приход.

В квартире Литовского нет ”подальше”. И с той минуты, как Левенталь сел, присутствие его стало ощутимо. Мы свели к минимуму обсуждения. Отрывок, который надо было отработать, сыграли без остановок — чтоб ему не было скучно. Перерыв на кофе затянулся дольше, чем полагалось, Розендорф уже сожалел, что пригласил его. А я наслаждался каждой минутой. Даже Литовский, не прочитавший ни строчки Левенталья, был в приподнятом настроении. Он расхаживал по своей квартирке, словно великий покровитель искусств по салону художников. Марта увивалась вокруг писателя и не успокоилась, пока он не попробовал всех ее пирогов. Только Эва не выказывала никакого особого интереса, он проявлялся разве что в подчеркнутом безразличии. Так равнодушной можно быть только

к знаменитому писателю, среднего она бы просто не заметила.

Это равнодушие не взаимно. Левенталь очарован ею. Глядя на Эву глазами непривычного человека, я понимаю, как она красива: рост, фигура, лицо, движения — каждое словно выделено из какого-то более протяженного жеста. И самое странное — лицо Эвы излучает духовную красоту, хотя внутри у нее пустота.

Левенталь умеет ценить красоту. Он не ухаживает за Эвой, но и не старается сдержать своего восхищения. Великие люди не скупы. Левенталь воздает Эве все, что ей положено, без слов — только взглядом. Точно человек, любующийся редкой красоты видом. Так он, кажется, и "слома" ее в конце концов. Но когда лед был наконец сломан, она только и могла сказать знаменитому писателю, что прочла роман Томаса Манна!

Я не отваживаюсь позвать Левенталья к себе, хотя мне очень недостает такого друга, как он. С тех пор, как оборвалась связь с доктором Лихманом, я жажду общения с человеком, с которым можно говорить о важных проблемах. Только в перерывах мне удается изредка перебраться с Левенталем несколькими словами о прочитанной книге или спросить его мнение по тому или иному философскому вопросу. Он держится со мной приветливо и охотно отвечает, но я не могу отделаться от чувства, что его ответы нацелены вовсе не на то, чтобы удовлетворить мою жажду серьезной беседы: он говорит со мной чересчур громко — чтобы привлечь внимание Эвы. Но я не прочь воспользоваться и этим. Мне трудно понять, как может Эва равнодушно отвергать дары, которые рассыпают перед ней щедрой рукой.

Вчера вечером я провожал Левенталья до дому

и испытал огромное наслаждение от беседы с ним. Ему было любопытно, когда я обратил его внимание на то, что идея гегелевской триады отражена в тех произведениях Гайдна, где имеются три части, две из которых противоречат друг другу, а третья как бы решает спор между ними.

— Молодой человек, будьте осторожны, — сказал он мне. — Такая потребность во всем находить общий знаменатель порождает новое варварство. А кроме того, Гайдн умер за двадцать три года до рождения этого мрачного философа, принесшего столько вреда.

С ласковым сомнением поглядел он на меня, когда я сказал, что философские идеи находят выражение в музыке за много лет до того, как их выразят в слове. Но под конец сам вернулся к мысли о том, что идеи обретают суть лишь после того, как они найдут соответствующее выражение. "Опасайтесь немецкого философствования", — снова предупредил он.

Потом мы поговорили о текущих делах. Левенталь, как и отец, полагает, что территориальное решение еврейского вопроса — дело необоснованное и даже опасное. Поселение евреев в Эрец-Исраэль — это, по его мнению, переход из одного галута в другой. Однако, если галутное существование в развитых странах открыло перед евреями неограниченные возможности для реализации своих талантов, то такое существование в Эрец-Исраэль чревато опасностью культурного обнищания. Левенталь очень разочаровала молодежь, с которой он встречался здесь, особенно уроженцы Эрец-Исраэль, готовящие себя к поприщу "юнkerов еврейского народа". Ему отвратительны мошавники, которые заносятся перед арабами и одновременно подражают их обычаям.

Мне трудно понять, что за озорство нападает на него безо всякого повода, ему точно вдруг надоедает серьезность и он выстреливает двусмысленные фразы, кажущиеся мне бесцельными насмешками. Быть может, в них выражается спор с судьбой, отдалившей его от близких друзей, вроде Вальтера Беньямина или Курта Тухольского, с кем он мог обмениваться недомолвками в своем возлюбленном "Берлинер Шнауце", и заставившей оттачивать интеллект на таком человеке, как я, жаждущем слишком серьезных философских разговоров, которые ему не по душе. И если он кажется себе в этот момент укротителем тигров, вынужденным довольствоваться выхаживанием кошек, так лучше бы вовсе не говорил со мной.

— Молодой человек, опасайтесь чрезмерной серьезности, — сказал он вдруг. — Не все рассудительное серьезно. У нас, немцев, есть опасная склонность вести себя с чрезмерной серьезностью, потому мы так хмуры, а порой и жестоки. Потом процитировал Шиллера: "Человек серьезен, только когда играет".

Мне подумалось, не таится ли в слове "играет" оскорбительный намек на то, что мне бы лучше ограничиться игрой на скрипке, то есть тем, что я умею делать, оставив философию тем, кто поумнее, тем, кто не пылает восторгом по поводу "немецкого философствования".

— Куда же мы придем, если каждой невинной мелодии станем приписывать тайные помыслы? Правда, мой друг Курт Тухольский говорил, что из-за плохой погоды немецкая революция произошла именно в музыке, но это еще не означает, что в музыке можно найти все безумные и возвышенные идеи последующего поколения. Тухольский и сам видел, что как только выглядывало на несколько

мгновений солнышко, улицу тотчас затопляли хулиганы. А они уж делали там совсем иную революцию, не похожую на ту, что рисовалась ему в воображении...

Я с любовью воспринимаю все эти уколы и собственное смятение, возникающее из-за двусмысленных фраз Левенталя. Несмотря на истинное удовольствие, которое я испытываю от музыки, я подчас до смерти скучаю в обществе музыкантов, способных говорить только о музыке, сплетнях и зарплате. Иногда их общество тяготит меня до удушья. Даже мои товарищи по квартету. Розендорф — человек замкнутый, его не интересует дружба. Он готов поделиться мыслями только с человеком своей лиги, с таким, как Эгон Левенталь. Эва боится откровенности, как заразной болезни. Сама потребность человека открыть душу — в ее глазах некая слабость, которой следует остерегаться. Литовский, который способен вдруг проявить странный интерес к политическим вопросам, — человек столь поверхностный, что я чувствую себя неловко, когда он заговаривает о политике.

Среди оркестрантов у меня нет ни одного друга. Многие относятся ко мне, как к какой-то экзотической птице. Они намекают, что им непонятно, как такой посредственный скрипач оказался в Квартете Розендорфа. Нет недостатка в мерзких разговорах и грязных инсинуациях. Говорят, что Розендорфа не воспаляют женщины, и пригласил он меня потому, что и я такой же. Какая гадость!

Но не могу сказать, чтобы мне удалось завоевать дружбу Левенталя. Он время от времени бросает мне какую-нибудь идею — каприз аристократа, подающего кучеру золотой. А может, он хочет сделать из меня своеобразного Эккермана, ко-

торый, приходя домой, записывал бы в тетрадку его афоризмы.

Идея вовсе неплохая.

18 ияра 5698 года

Произошло нечто странное. Странное и пугающее.

Но может быть, я уже начинаю теней бояться и, сдавшись на милость рутины, стараюсь приукрасить жизнь драматизмом или романтикой. А то и тем и другим сразу.

Во время репетиции Марта вышла на балкон полить цветы и, возвратившись, сказала нам:

— Поглядите, какая любовь к камерной музыке!

На каменном заборе сидел в очень неудобной позе молодой парень в косоворотке и шортах. Не было никакого сомнения в том, что он сидит там, чтобы слушать музыку. Глаза его, не замечавшие наших взглядов, были устремлены в сторону нашей комнаты. Он показался нам эдаким пролетарием, немного диковатым, из тех, кого обычно не заподозришь в любви к камерной музыке. Было приятно, что и здесь, в Тель-Авиве, можно найти такого вот молодца, способного сесть посреди улицы и слушать музыку. Особенно, если учесть, что он очень хорош собой, с сильными руками, мощной грудью, курчавой щеткой волос и мускулистыми ногами, на которых, вьются черные волосы. Сперва я обрадовался, увидев его: раз нам удалось привлечь к кругу своих слушателей и такого представителя рабочего класса, значит мы исполняем здесь важнейшую роль носителей культуры.

Мы возобновили игру. Настал перерыв, а он все не двигался с места. Так же сидел на заборе в позе роденовского "Мыслителя", не обращая никакого внимания на наши взгляды.

Марта предложила пригласить его в комнату. Красивый жест. Все согласились, кроме Эвы.

— Пускай сидит там, пока не устанет, — сказала она.

В тот же момент все поняли, что парень пришел из-за нее и что он раздражает ее своим присутствием. Упрямый поклонник, который легко не отступится. Предложение позвать его больше не обсуждалось. Мы молча пили кофе. Только когда Эва вышла из комнаты, мы обменялись несколькими словами. Поскольку Эва казалась озабоченной, хоть и притворялась равнодушной, я высказал предположение, что парень этот может быть опасен. Похоже, он решил ее дожидаться, начнет приставать. Розендорф с Литовским согласились со мной. Левенталь успокоил нас:

— На лице этого парня собачья, ничуть не опасная, преданность, — сказал Левенталь, — есть в ней нечто русское. Русские, с их жаждой совершенной любви, могут до смерти замучить своих возлюбленных.

Когда мы вышли, и парень пошел за нами, как сыщик, я стал думать, что прав я, а не Левенталь. Особенно утвердился я в своей правоте, когда мы дошли до улицы Мапу⁴², где обычно расстаемся с Эвой, и она попросила меня проводить ее до дому. На какое-то мгновение я был рад, что она выбрала именно меня, но тотчас понял, что она остановила выбор на мне, чтобы не злить ухажера. Я достаточно безобразен, чтобы не вызвать у него опасений. Эва явно не полагалась на то, что эта сумасшедшая любовь приняла форму собачьей преданности, — он, видно, день и ночь следил за каждым ее шагом. А взгляд, которым глянул на меня парень, когда мы пошли рядом с Эвой и она взяла меня под руку (дыхание перехватило, когда я ощу-

тил прикосновение ее упругой груди), вызвал у меня подозрение, что он опасней, чем я думал. С такой ненавистью к постороннему, о котором тебе ничего не известно, глядели на меня разве только немцы, когда им становилось ясно, что я еврей.

Парень шел за нами всю дорогу, иногда отставая на три-четыре шага, и я едва справлялся со страхом. Один раз, когда я, не утерпев, обернулся, то увидел в его глазах презрение, превосходившее ненависть. Почему он так презирает меня? За то, что я боюсь его? За то, что позволяю себе заглядываться на такую красавицу?

Больше всего поразило меня поведение Эвы. Она шла рядом со мной, точно мы пара влюбленных, и болтала без умолку. Говорила о новой пластинке Сигети, о гонке вооружений, об усилении арабского террора, о каком-то своем знакомом, получившем важный пост в министерстве иностранных дел Германии. Ни разу не слышал я, чтобы она говорила так много.

Возле дома Эва задержалась дольше, чем было нужно для прощания. Я заметил, что она уголком глаза косится на парня. Видно, хотела намекнуть с моей помощью, что у него нет никаких шансов добиться у нее успеха.

Он вдруг подошел к нам. Я страшно перепугался и выглядел весьма жалко. Ведь если бы он поднял на меня руку, я не смог бы защититься. Эва бросила на него грозный взгляд, и он остановился.

Она в ту же минуту начала говорить о музыке.

Я не знал, понимает ли он по-немецки. Но он, видимо, заключил из нашего разговора, а также из того факта, что она не пригласила меня войти, что нас связывает только музыка, после чего оставил нас в покое и ушел, окинув меня насмешливо-снисходительным взглядом.

Странная история от начала до конца: в тот момент, как он исчез из виду, Эва вошла в подъезд, забыв даже попрощаться. Я остался стоять посреди улицы как идиот. И даже не начал еще понимать, в какой истории я оказался замешан.

24 ияра 5698 года

Эва полагает, что *allegro ma non troppo** — это столько-то ударов метронома, *giocososo*** — поменьше, а *spiritoso**** — еще меньше. Будто труд Леопольда Моцарта "Исследование об основах игры на скрипке" — это Священное писание! Но это ошибка. То, что было общепринятым в год рождения Вольфганга Амадея, когда музыкант был слугой при дворе принца, не подходит для нашего времени, после того, как в мире отгремело полдюжины войн и произошли столь радикальные изменения в ритме жизни. Я не верю, что надо исполнять произведение всегда в одинаковом темпе — на то есть разные причины. Как известно, и акустика, и публика, и температура в зале влияют на инструменты и даже на настроение музыкантов.

Думаю, мы с Эвой никогда не договоримся. Самое большее — сумеем установить отношения взаимного уважения. Я-то способен ее уважать. Как музыканта, но не как человека. Я поражаюсь, как может женщина, которая своими глазами видела бесчинства уличных погромщиков, принимать условности культуры, покоившейся на вере в незыблемость этических норм, культуры, завершившейся на исходе девятнадцатого столетия.

Таким был и мой учитель теории. Милый старик,

* Оживленно, но не слишком быстро (*ит.*).

** Игриво (*ит.*).

***Одухотворенно (*ит.*).

почитавший себя хранителем едва тлеющего огня чистой гармонии, веривший, что самое сохранение точности ритма и силы звука есть гарантия существования культуры. Но после того, как на него накинута на улице, когда он шел в концертный зал, погромщики из СС, и он услышал, как сердце его стучит с частотой больше ста ударов в минуту, он понял: то, что было *moderato** в дни Гайдна, уже не является таковым во времена Гитлера.

Эва говорит о "жесткой дисциплине", о "владении" инструментом, об авторитете первой скрипки и прочих штампах, которые мне не по душе.

Каково мнение Розендорфа, мне неизвестно. Он отказывается говорить о "незыблемых принципах". Иногда он поддерживает меня, но в большинстве случаев — Эву. Политичность во взаимоотношениях с людьми ему не чужда, и поскольку он ведет себя изящно и доброжелательно, на него нельзя сердиться. Существуют общественные проблемы, существует напряжение, вызванное вещами, не имеющими никакого отношения к квартету. Приходится учитывать и обостренную чувствительность людей, например, Литовский болезненно воспринимает критику. Он может признаться, что ошибся в темпе, в интерпретации, в счете, почти во всем, но никогда не признается, что сфальшивил. Если его чистое "ля" не совпадает с аккордом оркестра, значит виноват кто-то другой.

Литовский такой человек, что если бы он не был столь великолепным виолончелистом, я бы сказал, что он слабое звено в нашем квартете. Даже в музыке он порхает от одного принципа к другому, вовсе не ощущая, что они несовместимы. Как столь поверхностный человек может быть блестя-

* Умеренно (*ит.*).

щим музыкантом?

— Природа подкачала всюду, где имела дело с людьми, — говорит Левенталь. — Порой диву даешься, что за чудесные души занимаются графоманией. Прекрасные люди, добрые, чуткие, готовые душу положить за друга, пополняют собою пантеон графоманов. А презренные мерзавцы, до безумия влюбленные в себя, мелочные до ужаса, тошнотворные карикатуры на людей, зло в чистом виде, вытачивают возвышенные строки великолепных стихов.

— Квартет — это человеческое общество в миниатюре, — сказал он однажды. — Здесь присутствуют все человеческие отношения. Весь диапазон чувств от притяжения до отталкивания, от конкуренции до взаимопомощи. Захватывающе интересно.

Квартет также экономическое объединение. Совместная борьба за выживание требует компромиссов и часто навязывает перемирие. К чести Розендорфа надо сказать, что он управляет квартетом как будто ходит между осколками стекла — так он осторожен, так боится задеть наши чувства.

Левенталь был поражен тем, что Розендорф включил в состав квартета женщину. Разве не достаточно того, что происходит между четырьмя мужчинами, стремящимися к совершенству и к славе? Женщина все усложняет. Всевозможные виды любви превращают совместную игру в нечто побочное, существующее рядом с глубокими переживаниями, с тем главным, сокровенным, что поглощает все внимание. Женщина в квартете — как постороннее насекомое, навещающее ужас на трудолюбивый улей. Никогда не знаешь, в кого вонзит оно свое жало в следующий раз.

Я улыбнулся: Эва — самый устойчивый человек

в нашем квартете. А про любовь и говорить не приходится.

3 сивана 5698 года

Мы люди очень сдержанные. Говорим между собою только о том, что необходимо. Излишняя откровенность может разрушить музыкальный ансамбль. Квартет — единство, соединенное очень тонким клеем. Высокие температуры его растворяют. Про Розендорфа мне известно очень мало. Кое-что знаю про Литовского, поскольку он всегда приводит примеры из своей жизни. От Марты я тоже кое-что слышал. Однажды мы были с ней дома вдвоем и долго болтали. Она рассказывала мне про свою семейную жизнь вещи, о которых Литовский наверняка не хотел бы мне сообщать. Почему у них нет детей. Почему Литовский недоволен своей жизнью. Вещи, о которых обычно умалчивают. Я чувствовал, что Марте необходимо излить кому-нибудь душу. Мы очень подружились. Она умная и сердечная женщина, но счастливой ее не назовешь. Отчасти потому, что такая у нее природа, отчасти потому, что Литовский не может понять женщину, которая несчастлива без всякой причины.

И все же, несмотря на то, что мы стараемся не сплетничать друг о друге, иногда мы не можем удержаться и говорим об Эве. Мы говорим о ней, конечно, без грубости, в наших разговорах нет никакого налета непристойности. Можно сказать, мы обмениваемся мнениями — и любопытство наше все возрастает по мере того, как мы ее узнаем. Нечто сходное происходит, когда мы обсуждаем трудную для понимания музыкальную пьесу. Так мы, например, обсуждаем новое произведение Бартока, которое не могли себе уяснить с первого прослушивания. Есть в этом изумлении некая растерянность.

Чувствуешь, что здесь действительно что-то есть, но не понимаешь, что именно.

Розендорф принципиально ненавидит сплетни. Литовскому же вовсе не противен стиль, в каком беседуют мужчины, пользующиеся успехом у женщин. Но и он абсолютно ничего не знает. Остальным известно не больше: что Эва из почтенной семьи, что мать ее еврейка и что с ее немецкими родичами связаны какие-то печальные события; что сперва она тосковала по ним, а потом постаралась отстраниться — по понятным причинам. Некоторые говорят, что в первое время Эва, как и все люди ее круга, твердила, что Гитлер — печальная необходимость в час чрезвычайной опасности для родины, и даже возмущалась евреями, которые судят о каждом событии в жизни государства по тому, приносит ли оно пользу или ущерб им. Но после того, как ей самой досталось, Эва, дескать, вспомнила, что она еврейка, хоть это отнюдь не греет ей сердце.

Не могу сказать, правда ли это или злостная клевета. Я не был знаком с Эвой в те времена, а все, кто рассказывают, что слышали от нее самой то да се, по-моему, хвастают. Насколько я ее знаю, у нее нет ни желания, ни, возможно, даже способности к абстрактному мышлению, которые необходимы, чтобы судить о таких вещах и вообще выражать какое-то мнение. Эвина позиция — равнодушие, и, отстаивая ее, она проявляет истинный фанатизм.

То обстоятельство, что Литовский знает не больше моего, я отношу за счет сдержанности Марты. Она единственная подруга Эвы, и если кто-нибудь о ней что-то знает, так это Марта. Ее молчание свидетельствует об истинной дружбе. И в разговоре со мной Марта говорила о себе, о своем муже, о прочих родственниках, оставшихся

в Германии, но с губ ее не сорвалось ни одного неосторожного слова про Эву.

Потому-то я был так ошеломлен, когда Литовский в присутствии Розендорфа намекнул, что, насколько ему известно, Эва — лесбиянка.

Он, правда, сказал это вполне спокойно, как человек широких взглядов, для которого такая вещь не порок, но для Розендорфа, не допускающего и мысли о вмешательстве в чужие дела, подобное обвинение столь несовместимо с правилами хорошего тона, что он целую неделю потом не разговаривал с Литовским.

4 сивана 5698 года

Литовский просто болтает. Может, Эва его отвергла и он ей мстит. Не в том дело, что я потрясен его "открытием". Я знал в Берлине лесбиянок, которые во всех прочих отношениях были превосходными людьми. Меня поразило то, что он счел нужным об этом говорить. Как он не понял, что этого достаточно, чтобы опозорить — если это позор — и его жену? Ведь Марта — единственная подруга Эвы, и дружба между ними больше похожа на тайный союз, чем на простые отношения сестер.

Они с Эвой, как рассказывала мне Марта, познакомились еще в Берлине, но тогда не подружались. Только в Эрец-Исраэль они близко сошлись. Есть нечто странное в том, как они глядят друг на друга, в глазах их таится какой-то секрет. Но может, я ошибаюсь. Может быть, это дружба двух женщин, которые делятся друг с дружкой двумя разными видами одиночества. Такая дружба завязывается между людьми, которых не понимают окружающие, или между теми, кто уважает друг друга и пренебрегает остальными.

Я совершенно потрясен тем, что произошло вчера вечером. Дрожащими руками пытаюсь я записать свои ощущения, внести какой-то порядок в смятение, охватившее мою душу. Не могу забыть ее лица в свете фонарей, минуты, когда она обняла меня обеими руками, этого поцелуя... ослепительного света, бывшего из ее глаз.

Девять месяцев я не видел Доры. Я думал, что стер ее из своего сердца. Некоторое время мы переписывались. Потом перестали. Дора еще раньше меня почувствовала, что в этих письмах недостает искренности. Писали обо всем на свете, чтобы скрыть то, что действительно важно. Расписывали мировые бедствия, чтобы не упоминать про душевную боль. Мировые проблемы слишком серьезная вещь, чтобы использовать их как предлог ухаживания за девушкой.

Дора знает, что я люблю ее, но не хочет, чтобы я шел за нею на край света, — пока не может платить мне настоящей любовью. Если бы я переехал в ее поселение по свободному выбору, она бы, возможно, постепенно привыкла любить меня, но она не хочет, чтобы я "приносил себя в жертву" ради нее. В коммуну не вступают ради женщины.

Несколько месяцев назад Дора вступила в группу халуцов, основавшую новое поселение по системе "стена и башня"⁴³ в Изреельской долине. Она пошла туда не только из-за того, что сознавала важность нового дела. Она влюбилась в человека, который руководил в Германии фермой, где молодежь готовилась к халуцианской жизни, а потом приехал к своим воспитанникам в Эрец-Исраэль. Судьба опять не улыбнулась Доре: ее друг погиб, когда машина его подорвалась на mine. Я написал ей письмо с выражением соболезнования и получил

ответ, где не было ничего личного. Я написал второе письмо, где говорилось, хоть и не в ясной форме, о том, как разочаровал меня ее ответ. Дора слишком понятлива, чтобы отвечать на такое письмо.

До вчерашнего вечера я был уверен, что вычеркнул ее из сердца. Когда нас пригласили выступить в ее киббуце, мы сильно колебались. Было неприятно отказываться, но участвовавшие случаи террористических актов в Изреельской долине вызвали опасения. Нам предложили ехать автобусом до Афулы, а оттуда в джипе вместе с нотрим. Намекали, что Губерман посетил Эйн-Харод и не боялся. На дорогах безопасно, говорили нам, британская армия контролирует все магистрали. Днем по дорогам ездят без всякого страха. Известно, что арабские банды действуют в основном ночью, стремясь повредить нефтепровод в Нижней Галилее, а это свидетельствует о том, что у них недостаточно сил, чтобы выступить при свете дня. Нам писали также, что киббуц хорошо укреплен и тщательно охраняется.

Я был благодарен Литовскому, который предложил согласиться. В этом взрослом человеке таится романтический юноша, которого увлекают героические поступки. Эва поддержала его. Может быть, там есть свой Вилли, ради которого стоит играть. Я не мог скрыть своей радости.

Розендорф согласился ехать после того, как Хильда Мозес рассказала ему, что у нее есть приятель, в одиночку разъезжающий по северу страны.

Поездка обошлась благополучно и даже доставила радость. Был отличный денек, небо было ясно, но жара стояла не такая уж страшная. Издали маленький киббуц был похож на мексиканскую шляпу с заостренной тульей и широкими полями. Езда по проселочной дороге среди высоких спелых хлебов в

сопровождении нотрим была на редкость приятной. Наши провожатые — молодые городские ребята, недавно закончившие гимназию, — изо всех сил пытались произвести впечатление на Эву. Они старались нагнать на нас страху, одновременно демонстрируя, что готовы спасти Эву от любой опасности. Я завидовал им. Они так счастливы своей полезной службой, за которую взялись по доброй воле. Я часто завидую простым здоровым людям, природное чувство подсказывает им, что нужно делать, и они не тревожат себя экзистенциальными вопросами. Вспоминаю себя в их годы: комок нервов, душа, истекающая кровью от вопросов, на которые не найти ответа. Я рад был своему открытию: у нас растет поколение простых парней, беззаботных и довольных своей долей. Сильные евреи, без еврейских наследственных страданий.

Прием, устроенный нам киббуцниками у ворот укрепленной усадьбы, был по-настоящему теплым. Мне вспомнились слова Гете: "В сущности, ты живешь только тогда, когда наслаждаешься любовью и приветливым отношением ближних". Нас встретили так, будто мы подкрепление, подоспевшее в последний момент. Музыка вдруг приобрела особую гуманистическую ценность.

Но больше всех собравшихся у проволочного заграждения волновался я. Сколько ни готовился я к встрече с Дорой, сколько ни приказывал себе держаться как надо и не проявлять излишней чувствительности в присутствии посторонних, но чуть не потерял сознание, увидев ее. Она стояла в дверях барака, отведенного под кухню, вытирая руки только что снятым фартуком. Дорино лицо помолодело за время, что я ее не видел, она похудела и оттого как будто стала выше ростом. Она была одета в какую-то неопределенного цвета одежду

— вылинявшую от стирки рубашу цвета хаки, поношенные шорты, и ее загорелые ноги, казались удивительно длинными. Дора, в отличие от меня, не старалась скрыть, что наша встреча обрадовала ее. Милая улыбка на ее прекрасном лице еще яснее показывала, как фальшива моя напускная серьезность. Она совсем просто подошла ко мне и пожала руку, к изумлению Эвы — та даже не пыталась скрыть, как удивлена тем, что в эдаком месте можно найти такую красивую женщину, которая выглядит нарядной даже в тряпье и к тому же прекрасно говорит по-немецки (Эва, конечно, стала относиться ко мне с большим уважением, увидев, что мы старые знакомые, а особенно когда Дора позвала меня помочь ей на кухне).

После того, как мы чуть огляделись и приняли холодный душ (в душевой, собранной во дворе из не очень крепко прилаженных друг к другу листов жести), Дора позвала меня гулять. Я был счастлив, как ребенок. Мы, понятно, не могли уйти настолько далеко, чтобы скрыться от взора часового, стоявшего на вышке, но мне было довольно и того, что Доре приятно мое общество, что ей хочется говорить со мной о себе. Она говорила не только о том, как содержательна и прекрасна жизнь в киббуце, но и впервые рассказывала про доктора Манфреда и про своего погибшего друга, с которым жила без хуппы⁴⁴, поскольку оба они были против религиозного обряда бракосочетания. Эта ее откровенность возродила во мне дикие надежды, ведь прежде она никогда не говорила со мной как с близким человеком.

Мы гуляли вокруг поселения почти час и все это время, даже когда шли узкими тропками, не дотрагивались друг до друга — даже случайно. И именно эта осторожность вызывала во мне ощущение, что

физическое все время стояло между нами, хотя мы старались ни о чем таком не думать (только так я могу понять, почему потом поцелуй показался как будто внезапным).

Во время концерта Дора сидела в первом ряду и, кажется, все время глядела на меня. Много лет не играл я так хорошо, в особенности "Смерть и девушку". Концерт вообще вышел удачный, несмотря на трудные условия — ветер бил в полотнища палаток, без умолку лаяла собака, в середине концерта была смена караула, а генератор сопровождал нашу игру своим монотонным гудением, не всегда сочетавшимся с нашим аккордом... И звуки колокола сперва тоже показались нам одной из тех помех, с которыми приходится мириться в таком месте... Пока мы не поняли...

В тот же момент события начали разворачиваться с головокружительной быстротой. К чести нашего квартета скажу, что мы не оборвали игру посередине части — скерцо из "Смерти и девушки" — даже когда сообразили, что произошло нечто серьезное, потому что несколько парней выбежали вон, хоть и осторожно, стараясь не мешать (по их поведению мы поняли, что от нас ожидают, чтобы мы продолжали игру), и снаружи сразу послышался рев моторов и торопливые возгласы: "Намочить мешки!", "Где ключ от оружейного склада?" — и еще до окончания скерцо мы увидели в окне красневшее на горизонте небо. Не помню, играли ли мы когда-нибудь последнюю часть так быстро. Быстрота эта произвела огромное впечатление на оставшихся слушателей — нескольких девушек, парня с ногой в гипсе и еще двоих ребят, стоявших в дверях и ожидавших чего-то, — они бешено зааплодировали нам, а потом тоже поспешно ушли, оставив с нами только секретаря по культуре

и двух девушек, видимо, приготовивших для нас какое-то угощение. К нему я не успел притронуться — сразу после того, как опустил скрипку в футляр, я, попросив Эву за ней приглядеть, тоже вышел во двор, отчасти надеясь встретить Дору, которая ушла еще с первой волной слушателей, отчасти потому, что все это происшествие сильно взволновало меня. Уже много лет я в Эрец-Исраэль и ни разу не был так близко от места нападения. Еще я успел подумать, что есть что-то отвратительное в моем волнении, горят, погибают плоды тяжелого человеческого труда, а я вроде накапливаю волнуемые переживания, извлекаю некое странное эстетическое удовольствие из расторопности и собранности членов киббуца, организовавшихся с поразительной быстротой. Решительность их действий вызывала зависть — словно выдавшая виды армия. Одни проверяли оружие, другие грузили на грузовик огнетушители и влажные мешки, кто-то запрягал лошадь в телегу, на которой лежал бак с водой. И вдруг, прежде чем я успел на себя разозлиться за то, что стал наблюдателем, а не участником происходящего, я уже оказался на грузовике в своей белой рубашке и парадных брюках, предназначенных для выступлений, — какое-то странное, непохожее на окружающих существо, эдакий Пьер Безухов, турист на поле битвы — и все это, еще не успев увидеть Дору, а вскоре мы были уже за воротами и только тогда меня заметили. Реакция была уважительно-насмешливая, понятно, посыпались шутки насчет музыканта, одни удачные, другие довольно гнусные, но я не сердился, ведь они не хотели меня обидеть. Через несколько минут мы уже были на поле и, рассыпавшись цепью, пошли на стену огня, разгоравшегося с каждым порывом ветра. Мы работали долго, до изнеможения, каждый как будто

выбрал себе "свой" очаг пламени и вел с ним отдельную войну. Мешок в моих руках уже превратился в обгоревшие лохмотья, а я все продолжал сбивать пламя, с силой, не соответствовавшей обстоятельствам, кругом летали маленькие искорки, одна попала в глаз и больно обожгла. Моя белая сорочка, символ капитуляции перед буржуазными радостями, постепенно окрашивалась в цвета окружающей местности, черные пятна появлялись на ней одно за другим... Но вдруг раздались выстрелы, кто-то из нотрим был ранен, послышался приказ ползком отходить от огня, который тем временем утих (один из участков поля выгорел дотла), и я поспешно спрятался за насыпью железной дороги, где какой-то киббуцник, стоя на коленях, перевязывал раненого. И тут я увидел, что высокий мужчина, который хладнокровно и метко стрелял из ружья раненого бойца по темным фигурам, хорошо просматривавшимся за стеной огня, — это Бернارد Литовский. Он успел переодеться и присоединился ко второй группе, выехавшей на тушение пожара, которая отличалась большей организованностью и действовала более эффективно, чем наша.

Поведение Литовского, служившего когда-то в германской армии, заслужило всеобщее признание, и как только выяснилось, что рана у пострадавшего киббуцника очень легкая, все с восхищением заговорили о Литовском. В эту минуту я раскаялся во всем, что было у меня на сердце против него, простил ему и поверхностность, и хвастовство, и бестактность, и упоение своей мужественностью, и даже то, что казалось мне хуже всего, — бесстыжую болтовню и сплетни про личную жизнь Эвы.

Сперва я даже чуть завидовал Литовскому: о нем только и говорили, а про меня совсем забыли, хоть я выбежал с первой группой, но это смешное

разочарование исчезло без остатка после того сюрприза, что ждал меня во дворе усадьбы и напроочь перевернул все мои чувства.

На глазах у всех — насколько можно видеть в темень — ко мне подошла Дора и, с улыбкой глядя на мой смешной вид, нежным и трепетным голосом, какого никогда не доводилось мне от нее слышать, тем самым голосом, каким говорила с доктором Манфредом, сказала, что она страшно волновалась, когда я вдруг исчез из виду. А потом безо всякого предупреждения встала на цыпочки и, обхватив мои плечи обеими руками, поцеловала меня в щеку долгим поцелуем, раз и еще раз!

В четырнадцать лет, когда я впервые открыл для себя Баха, его музыка производила на меня колоссальное впечатление. Она вызывала во мне глубокое чувство, которое не назовешь иначе, как религиозным. Я тогда уже думал такими понятиями, как "просветление", "возвышение души", "божественное откровение". Я думал тогда, что ничто иное на свете не способно потрясти мою душу более, чем эта музыка. А теперь этот поцелуй произвел во мне такое сильное потрясение, что я чуть не потерял сознание. Если бы я не схватился за Дору, счастливый и беспомощный от счастья, я бы упал. Она ласково отстранилась от меня. Скоро рассвет, меня ждут товарищи, во дворе уже стоит бронемашина, которая довезет нас до Афулы. При свете прожектора, вращавшегося на башне, я прочел в глазах Доры обещание. Расставаясь, она сказала, что напишет мне о здоровье раненого паренька (я даже имени его не знал), — и даже тот факт, что ей понадобился предлог, чтобы возобновить переписку, показался мне обнадеживающим знаком. Растерянность — состояние, часто таящее в себе возможность любви. В те времена, когда она вполне владела собой, для

меня не было места в ее сердце.

Я так понял этот поцелуй и растерянность, наступившую после него: если бы я мог разделить с нею и скучную жизнь без горящих полей, она бы, может быть, смогла полюбить меня.

Когда мы сели в Афуле в автобус, Эва проговорила:

— А Фридман-то, оказывается, вовсе не такой тихоня, как мы думали.

Но сердце мое не исполнилось гордости. Я думал только о том, что сказала Дора. Почти ничего и вместе с тем огромная новость: я снова оказался как бы в начале пути. Моя любовь прошла сквозь горящее поле словно сквозь пламя чистилища.

Мне оставалось только надеяться, что любовь может быть не только пожаром, разгорающимся в великое пламя, как моя любовь к Доре, но и чем-то таким, что прорастает потихоньку, как полевая трава, зерна которой дали вчера первые всходы в ее душе.

Как драгоценный дар, храню я синюю рубашку, которую одолжила мне кладовщица киббуца, чтобы я "выглядел как человек". Однажды я поеду туда, чтобы самому возвратить рубашку, чистую и отглаженную.

Воскресенье, 13.11.1938

Дорогой отец!

С большой тревогой прочел я в утренней газете сообщение из Берлина. Не хочу быть многословным. Сердцем я с тем молодым человеком из Парижа, желавшим спасти честь своего народа, хотя он и причинил лишь большой вред⁴⁵. Но я думаю, что пришло время понять явленные нам знаки. Поджигавшие синагоги делали это не из религиозного фанатизма. Они хотели, чтобы мы поняли: те, кто

способны посягнуть на самое святое, без колебаний поднимут руку просто на людей.

Надеюсь, что из этого будет хоть одна польза — ты избавишься от иллюзий. Третий рейх не несчастный случай в истории, как ты считал. Он будет с нами еще по меньшей мере тысячелетие.

Прошу тебя, примись за дело, пока еще можно. Не бойся, что будешь мне обузой. Теперь, после получения должности концертмейстера группы вторых скрипок, я зарабатываю двадцать фунтов в месяц (можешь пересчитать на марки, я не знаю обменного курса). Квартет тоже дает некоторый доход, небольшой, но все же это деньги. Если возьму шесть-семь учеников, смогу заработать до двадцати шести фунтов в месяц. Это совсем не малая сумма, применительно к здешним условиям. У меня еще есть некоторые сбережения. Мы не сможем жить в довольстве, к которому ты привык, но и голодать нам не придется.

Прошу тебя, приезжай. Не надо колебаться. В Германии станет еще хуже. Умоляю тебя, тревога не дает мне покоя день и ночь. Если что-нибудь случится, я не прощу себе, что бросил тебя на произвол судьбы, когда ты во мне нуждался. Я буду счастливейшим человеком в мире, если ты приедешь. Снимем квартиру, которой нам хватит на двоих, и заживем. К тому же я уверен, что такой человек, как ты, очень быстро найдет работу.

Твой любящий сын

Конрад

P.S., может быть, возьму себе еврейское имя (имя, а не фамилию). Думал об имени Нимрод, но оно кажется мне слишком претенциозным. Если ты предпочитаешь, чтобы я взял имя твоего отца — Менахем, я так и сделаю, хотя и в этом имени есть некое обещание, которого я, быть может, не смогу исполнить⁴⁶.

Примечания

- ¹ **Феликс Мендельсон-Бартольди** (1809—1847) — немецкий композитор, пианист, дирижер и педагог. Еврей по происхождению, он был обращен в лютеранство в раннем детстве по воле родителей, но на протяжении всей жизни сохранял интерес к еврейству и гордился своим происхождением. В нацистской Германии музыка Мендельсона была признана "расово-чуждой", разделив таким образом судьбу евреев, от которых надлежало "очистить" все сферы духовной жизни.
- ² Имеется в виду один из элементов ритуальной символики масонов ("вольных каменщиков") — участников религиозно-нравственного движения, задачей которого было объединение человечества в братском религиозном союзе.
- ³ **Киббуцник** — член киббуца, сельской коммуны с равным распределением труда и коллективным обеспечением материальных нужд всех членов коллектива. Киббуцы сыграли важную роль в процессе возвращения евреев к сельскохозяйственному труду и возрождения еврейской государственности.
- ⁴ Жаргоном пренебрежительно называли идиш — язык ашкеназских евреев (потомков еврейского населения средневековой Германии, расселившихся по многим странам Европы и Америки). В идише сплавлены элементы разных языков, главным образом немецкого, иврита и славянских, поэтому Розендорф, воспитанный на немецкой культуре, с трудом понимает его.

- ⁵ Алия (ивр., букв. "подъем", "восхождение") — переселение евреев в Эрец-Исраэль. Название обусловлено тем, что, согласно традиции, Святая земля является центром, вершиной мира; переселяющийся в Эрец-Исраэль совершает восхождение, а покидающий ее — нисхождение, спуск (иерида).
- ⁶ "Земля, которую нам обещали" — ироническая перефразировка библейского выражения "Земля обетованная".
- ⁷ Согласно решению международной конференции в Сан-Ремо (1920 г.), Великобритания получила мандат на управление Палестиной, причем в условия мандата входило обязательство создать в стране национальный очаг для еврейского народа. Представителем британского правительства в Палестине был верховный комиссар, возглавлявший мандатную администрацию, управлявшую страной до создания государства Израиль (15 мая 1948 г.).
- ⁸ Сертификат — разрешение на въезд в Палестину, которое выдавалось в период британского мандата в соответствии с ежегодной квотой на иммиграцию евреев, устанавливавшейся мандатными властями. Квота эта, в свою очередь, определялась "экономической емкостью страны", и потому преимуществом при получении сертификатов пользовались обладатели капитала и ремесленники.
- ⁹ Кармел — горный кряж на севере Израиля. На склонах Кармела расположен ряд районов г.Хайфы.
- ¹⁰ На протяжении тридцатых годов в Палестине нарастали выступления арабских националистов, стремившихся заставить британские власти резко ограничить въезд евреев в Палестину и отказаться от исполнения мандатных обязательств. Особого размаха арабский террор достиг в апреле — октябре 1936, а затем в июне 1937 — сентябре 1939 г.

- ¹¹ **Байрейтский фестиваль**, посвященный творчеству Р.Вагнера, ежегодно проводится в г.Байрейте (Германия), где по инициативе этого композитора был построен театр, в котором ставились его оперы.
- ¹² **Высшая школа иудаистики** (Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс), основанная в 1872 г. в Берлине сторонниками проведения реформ в иудаизме, отличалась научным подходом к еврейской традиции и стремлением лишить иудаизм национальной обособленности, сделать его частью европейской культуры.
- ¹³ **Всеобщая забастовка арабов Палестины** в 1936 г., продолжавшаяся около полугода, была объявлена арабскими руководителями для достижения трех целей: прекращения еврейской иммиграции, запрещения передачи земель в собственность евреев; создания "национального правительства".
- ¹⁴ **Еврейский университет**, открытый в Иерусалиме в 1925 г., — первый университет в мире, где обучение ведется на иврите.
- ¹⁵ **Гимназия "Герцлия"** — первая средняя школа с преподаванием всех предметов на иврите, основана в 1906 г. в Яффе, а в 1909 г. переведена в только что основанный Тель-Авив.
- ¹⁶ **Элизер Бен-Иехуда** (1858—1922) — инициатор возрождения иврита как разговорного языка, литератор, педагог, издатель.
- ¹⁷ В дневнике Фридмана все даты даны по традиционному еврейскому календарю. Еврейское летосчисление, согласно традиции, ведется от сотворения мира, а не от рождества Христова, как в международном григорианском календаре. Соотношение дат еврейского и григорианского календаря устанавливается вычитанием 3760 (с 1 января по 29 элула) или 3761 (с 1 тишрея по 31 декабря) от указанного по еврейскому календарю года.

Первым месяцем года является тишрей (соответствует сентябрю-октябрю). Далее следуют: хешван (октябрь-ноябрь), кислев (ноябрь-декабрь), тевет (декабрь-январь), шват (январь-февраль), адар (февраль-март), нисан (март-апрель), ияр (апрель-май), сиван (май-июнь), таммуз (июнь-июль), ав (июль-август), элул (август-сентябрь).

- ¹⁸ **Халуц** (ивр.; мн.ч. халуцим) — пионер, первопроходец, участник халуцианского движения за освоение и заселение заброшенных земель в Эрец-Исраэль, начавшегося в конце 19 — начале 20 века.
- ¹⁹ **Керен каемет ле-Исраэль** (Еврейский национальный фонд) — фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в Эрец-Исраэль; основан 29 декабря 1901 г. на Пятом сионистском конгрессе в Базеле.
- ²⁰ **Еврейское Агентство** — международная еврейская организация, название и функции которой были определены в 1922 г. Лигой Наций в британском мандате. В его задачи входило содействие еврейскому заселению Эрец-Исраэль и осуществление связи между еврейским населением и еврейством диаспоры. Эти задачи организация осуществляет и поныне.
- ²¹ **Хабиби** ("милый", "дружок") — широко распространенное в современном иврите арабское слово, имеющее более разговорный оттенок, чем соответствующее ему ивритское "хавиви".
- ²² **Хасиды** (хасид — "благочестивый") — сторонники религиозно-мистического народного движения, зародившегося среди евреев Подолья и Волыни и распространившегося по всей Украине и Польше; хасидские общины существуют в разных странах мира и поныне.
- ²³ **Мессия** (ивр. Машиах) — букв. "помазанник"; в древности титул царей израильских, т.к. ритуал возведе-

ния на престол включал помазание елеем. В дальнейшем Мессией стали называть будущего царя Израиля, который, согласно еврейской традиции, соберет рассеянных по миру евреев в Земле обетованной и восстановит разрушенное царство Израиля. С приходом Мессии связывается также надежда на установление всеобщего мира и благоденствия.

- ²⁴ **Галут** (ивр.) — букв. "изгнание", вынужденное пребывание еврейского народа на чужой земле. В сходном значении употребляется термин "диаспора".
- ²⁵ **Нотрим** (ивр.; ед.ч. нотер — "сторож", "охранник") - военизированные отряды, созданные британскими мандатными властями в 1936 г. для защиты еврейских поселений от арабских террористов. Нотрим считались сверхштатными полицейскими ("Supernumerary police"), получали винтовку военного образца, форму и жалованье от полиции.
- ²⁶ **Устное учение** (ивр. Тора ше-бе-ал-пэ) — совокупность религиозно-правовых установлений, основанных на толковании Письменного учения (т.е. предписаний Пятикнижия). Здесь имеется в виду прежде всего Талмуд - обширный свод религиозной литературы, заверченный к 5 в. н.э., где сталкиваются точки зрения законоучителей, живших в разные эпохи, и таким образом люди, которые в силу объективных причин не могли обмениваться мнениями, как бы ведут дискуссию.
- ²⁷ **Хамсин** (араб.) — букв. "пятьдесят"; жаркий и сухой ветер в Северо-Восточной Африке, а также в районах Красного и Мертвого морей; дует приблизительно 50 суток в году; сопровождается высокими температурами, резким снижением относительной влажности воздуха, часто приводит к пыльным бурям.
- ²⁸ В 1857 г., во время своего пребывания в Париже, Л.Толстой наблюдал в одной из тюрем смертную казнь посредством гильотинирования. Он оставил об этом

событии следующую запись в дневнике: "...встал в 7 часов утра и поехал смотреть экзекуцию. Толстая белая здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом смерть. Что за бессмыслица. Сильное и недаром прошедшее впечатление". См. Л.Н. Толстой. Юбилейное издание. ПСС, М., 1937, т.47, сс. 121 — 122, а также примеч. на сс. 438 — 439.

- ²⁹ **Кафия** — арабский мужской головной убор в виде полотняного платка, закрепляемого на голове с помощью витого шнура или обруча.
- ³⁰ Согласно принятому при англичанах иерусалимским муниципалитетом закону, все строящиеся в городе здания облицовываются светлым иерусалимским камнем, который добывают в каменоломнях, расположенных в окрестностях города.
- ³¹ **Мошав** (ивр.) — кооперативное сельскохозяйственное поселение, основанное на совместном владении техникой и сбыте продукции при сохранении частной собственности на землю и имущество.
- ³² **Рабочие поселения** (ивр. мошавей поалим) были созданы в Эрец-Исраэль социалистами, участниками халуцианского движения, считавшими труд главным средством возрождения родины. В созданных прежде сельскохозяйственных поселениях использовался дешевый труд арабских рабочих, что противоречило одной из главных целей, провозглашенных сионистским движением, — переходу евреев к производительному труду. В рабочих поселениях каждый рабочий получал небольшой участок земли для ведения подсобного хозяйства. Первое поселение этого типа, Эйн-Ганим, было основано в 1908 г.
- ³³ **Ишув** (ивр., букв. "население") — собирательное название еврейского населения Эрец-Исраэль, главным образом до создания государства Израиль.

- ³⁴ "Завоевание (физического) труда" — один из основополагающих принципов еврейского рабочего движения в Эрец-Исраэль, сформулированный в десятых годах 20 века. Предусматривал создание общества, где евреи будут сами исполнять все экономические функции, в том числе заниматься физическим трудом.
- ³⁵ Парафраз строки из "Ха-тиквы" (ивр. "Надежда") — гимна Всемирной сионистской организации, ставшего с 1948 г. государственным гимном Израиля. Автор слов Нафтали Герц Имбер (1856 - 1909).
- ³⁶ Плебисцит по вопросу о присоединении Австрии к Германии был назначен на 13 марта 1938 г., однако 11 — 12 марта немецкая армия оккупировала Австрию, плебисцит был отсрочен и проведен лишь 10 апреля, когда аншлюс уже стал фактом.
- ³⁷ Курт Шушнинг (1897 — 1977) — федеральный канцлер Австрии в 1934 - 1938 гг.; заключил с фашистской Германией ряд соглашений, ускоривших аншлюс, однако под давлением оппозиции назначил плебисцит по вопросу о судьбе Австрии. Гитлер в ультимативной форме потребовал отмены этого решения и отставки Шушнинга. После аншлюса Шушнинг был арестован гитлеровцами и заключен в концлагерь.
- ³⁸ Ховевей-Цион (ивр., букв. "любящие Сион"), или палестинофилы принадлежали к образовавшемуся в восьмидесятых годах 19 века в России общественному движению, из которого развился сионизм.
- ³⁹ Переселившись в Эрец-Исраэль, многие энтузиасты национального возрождения меняли свои имена и фамилии, переводя их на иврит, подобно Вилли (Гринфельд по-немецки "Зеленое поле", как и "Сде-Ярок" на иврите), или брали новые, связанные с еврейской историей и традициями имени.
- ⁴⁰ Гой (ивр., идиш) — нееврей, иноверец.

- 41 **Шиват-Цион** (ивр.) — возвращение к Сиону, т.е. возвращение в Эрец-Исраэль с чужбины.
- 42 **Аврахам Мапу** (1808 — 1867) — писатель-просветитель, автор первого реалистического романа на иврите и ряда произведений, где в идеализированной форме воссоздавалась жизнь древнего Израиля.
- 43 **"Стена и башня"** — так называлась система создания "незаконных" поселений в период арабского террора 1936 — 1939 гг., когда мандатные власти резко ограничили рост еврейского поселенчества в Эрец-Исраэль. Такие поселения создавались за одну ночь, чтобы поставить власти перед свершившимся фактом, причем прежде всего строилась ограда вокруг будущего поселения, а в центре его — сторожевая вышка с прожектором. Жили в этих поселениях добровольцы, способные оказать сопротивление арабским погромщикам. Всего по этой системе было создано 52 поселения, преимущественно в пограничных районах.
- 44 **Хуппа** (ивр.) — ритуальный балдахин, под которым совершается обряд бракосочетания; здесь употреблено в значении "религиозное бракосочетание".
- 45 Имеется в виду Гершл Гриншпан (1921—?), смертельно ранивший 7 ноября 1938 г. чиновника германского посольства во Франции Эрнста фом Рата. Это покушение, совершенное под влиянием решения нацистских властей о депортации из Германии польских евреев (среди которых были и родители Гриншпана), послужило поводом для еврейского погрома в ночь на 9 ноября 1938 г., когда погибло 92 еврея, а все синагоги Германии были подожжены. Этот погром вошел в историю под названием "Хрустальная ночь".
- 46 Имя библейского богатыря и охотника Нимрода народная этимология связала со значением "восставать", "противиться". Имя Менахем на иврите означает "утешитель".

עיריית חיפה
 מרכז תרבות הפנאי
 מרכז תרבות לעולים
 ספריה - ספריה

КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО
ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской
поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-ха-Ам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ
БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И
СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917 — 1967)

25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЕНЬ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО, ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах
55. Джон Орбах. РИКША

56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ
БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. "ДЕТСТВО" И ДРУГИЕ
РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ.
Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ.
Книга 2
60. Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И.Кауфман. Библейская эпоха
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее
в жизнь
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.
Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-
репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО
МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА

80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:
Б.Динур. Исторические основы возрождения
Израиля
С.Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ
В ИСПАНИИ
83. Х.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА
"ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И
ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник
стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ.
Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА

105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН.
Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН.
Биография. Книга 2
107. ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ.
Книга 1
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ.
Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник произведений и писем
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В
ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В
ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ
МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки
израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА —
РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.
Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА.
Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2

128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И
ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И
ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и
развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и
развитие. Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ
И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ

- ✓58. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН
НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС-2. Сборник произведений
израильских литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.
Сборник рассказов
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИЕ
ЭПОХИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. Яков Кац. ЕВРЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЕВРОПЕ
169. Э.Луз. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ
ТРАДИЦИИ
171. И.Левит. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИ!
172. Х.Герцог. ГЕРОИ ИЗРАИЛЯ
173. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 1
174. Говард М.Сакер. ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ. Книга 2
175. Д.Дорон. КИШИНЕВСКОЕ ГЕТТО —
ПОСЛЕДНИЙ ПОГРОМ
176. Д.Фришман. В ПУСТЫНЕ
177. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИИ. Книга 1
178. А.Херцберг. СИОНИЗМ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИИ. Книга 2
179. Гедалия Аллон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ
ЭПОХУ. Книга 1
180. Гедалия Аллон. ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ
ПАЛЕСТИНЫ В ТАЛМУДИЧЕСКУЮ
ЭПОХУ. Книга 2
181. И.Бер. ГАЛУТ

182. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 1
183. Бат-Йеор. ЗИММИ. ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ
ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА. Книга 2
184. ИЕРУСАЛИМ И ОКРЕСТНОСТИ. Справочник
185. БАБИЙ ЯР. К пятидесятилетию трагедии.
Сборник материалов
186. Хаим Гури. ОГНЕННЫЕ ЦВЕТЫ. Сборник
стихов и прозы
187. А.Мазар. ЗЕМЛЯ БИБЛИИ И АРХЕОЛОГИЯ.
Археологические находки и их исследования
188. А.-Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 1
189. А.-Б.Иехошуа. ГОСПОДИН МАНИ. Книга 2
190. Натан Шахам. КВАРТЕТ РОЗЕНДОРФА
191. Ш. Эттингер. РОССИЯ И ЕВРЕИ. Сборник
статей

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ
ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й.Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ
НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-
ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-
ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ

13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И.Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ.
Сборник рассказов и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н.Гутман и Э.Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И
НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология
израильской детской литературы. Книга 1
18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской
детской литературы. Книга 2
19. Одед Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИИ
22. ПУТЕШЕСТВИЯ БИНЬЯМИНА ИЗ ТУДЕЛЫ.
Обработка Миры Меир
23. Наоми Вишницер. ГОЛУБАЯ БУСИНКА
УДАЧИ, ИЛИ "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ДОМОЙ!"
24. Мирьям Акавия. ГАЛИЯ И МИКЛОШ: РАЗРЫВ
ОТНОШЕНИЙ.
25. Яэль Розман. ВСЕ ИЗ-ЗА НИХ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗРУБАВЕЛЫ
26. Я.Черновиц, М.Лобэ. ДВОЕ ДРУЗЕЙ
ВЫШЛИ В ПУТЬ
27. Леа Гольдберг. НИССИМ И НИФЛАОТ
28. Сами Михаэль. МЕЧТЫ ЖЕСТЯНЫХ ЛАЧУГ
29. Леа Наор. ПОЭТ. Повесть о Бялике

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 1. История
еврейского народа с древнейших времен до
XVIII века. Учебник для среднего школьного
возраста. К учебнику прилагается сборник
задач и упражнений

2. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Книга 2. История еврейского народа от XVIII века до наших дней. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается сборник задач и упражнений
3. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
4. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От эпохи патриархов до восстания Бар-Кохбы. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается тетрадь для самостоятельных работ
5. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. 1870—1914. Учебник для среднего и старшего школьного возраста. К учебнику прилагается методическое пособие
6. ГЕОГРАФИЯ ИЗРАИЛЯ. Прибрежная равнина и север страны. Учебник для среднего школьного возраста. К учебнику прилагается тетрадь для самостоятельных работ
7. БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. Сборник обработанных для юного читателя библейских сюжетов. К сборнику прилагается методическое руководство для родителей и учителей
8. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. От талмудической эпохи до эпохи эмансипации. Учебник для среднего и старшего школьного возраста
9. ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. 1914—1949. Учебник для среднего и старшего школьного возраста.

Наши книги можно заказать по адресу:

P.O.B. 4140, Jerusalem 91041, Israel

Автор книги — Натан Шахам — один из известнейших современных израильских писателей. Его роман "Квартет Розендорфа" посвящен музыкантам струнного квартета, бежавшим в Палестину (за исключением одного из них) из-за невозможности жить в гитлеровской Германии. Автор с глубоким проникновением описывает своих рафинированных, изломанных героев, попавших в непривычные для них условия жизни — начиная от климата и кончая политическими реалиями. История взаимоотношений членов квартета, собственно, и составляет содержание романа.

"Квартет Розендорфа" переведен на многие языки. Его автор — лауреат нескольких престижных литературных премий. В 1992 г. эта книга была признана в США "лучшей еврейской книгой года".